

Иннокентий Лаврентьевич ПОПОВ-ЛЕНСКИЙ

Антуан БАРНАВ

и

МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИСТОРИИ

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ в XVIII веке

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРАСНАЯ НОВЬ» Г.П.П.

МОСКВА 1924 ЛЕНИНГРАД

Веб-публикация: [Vive Liberta](#) и [Век Просвещения](#), 2009.
Введение, часть 1.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вместо предисловия (Барнав в литературе)

ЧАСТЬ 1. Человек и жизнь

Глава I. До революции

Семейная и общественная среда. Влияние философов. Беспорядки в Дофинэ и роль в них Барнава. Политическая доктрина Барнава накануне революции

Глава II. Барнав и революция

Вопрос об эволюции политических идей Барнава. Действительный ход их развития. Социальное обоснование революции. Барнав и якобинцы. Адрес Барнава и полемика вокруг него. Теоретические основания политико-социального мировоззрения Барнава. Барнав и кризис 20 июня 1791 г. Политическое credo Барнава в момент роспуска Конституанты. Сношения Барнава с двором.

Глава III. Барнав после Конституанты

Гренобль. Прогнозы будущего. Оценка прошлого. Научные занятия Барнава. Внутренняя борьба. Мемуары и их характер. Революция 10 августа и Барнав. Арест и тюремные скитания. Исповедь души. Смерть «философом».

ЧАСТЬ 2. Историко-философские идеи Барнава

Глава I. Барнав и философия XVIII века

Метод изучения историко-философских взглядов Барнава. Общая оценка философской работы века. Личность и среда в философии Барнава. Психологизм у Барнава. Взгляды на мораль. Общественная наука и единство метода. Попытки научной систематизации знания. «Система предметов» Барнава. Место, которое должен занять Барнав в философском движении века. Барнав и позитивизм.

Глава II. Физическая интерпретация истории

Монтескье и его влияние. «План изучения истории» Барнава. Методологический монизм Барнава. Естественная среда, как исторический фактор. Теории XVIII века. Взгляды на этот счет Маркса. Сравнение идей Маркса и Барнава о значении географического фактора.

Глава III. Социология Барнава

Барнав и физиократы. Социологические взгляды Тюрго и их развитие. Тяготение Тюрго к материалистическому пониманию истории. Экономическое

обоснование общества у физиократов. Опровержение договорной теории происхождения государства. Динамика общественного развития в представлении физиократов. Социологическая схема физиократов. Барнав и его отношение к социологическим построениям физиократов. Вопрос о взаимоотношении различных сторон социальной эволюции. Характеристика методов исследования Барнава. Ход общественного развития по Барнаву. Сравнение социологических конструкций Барнава и Кондорсе. Роль «собственности» в общественной эволюции по Барнаву. Понятие собственности у Барнава и у Маркса. Вопрос о взаимодействии и учение Барнава о «плеторе». Приложение социологических выводов к истории.

Глава IV. Проблема борьбы общественных классов

Классовая борьба в учениях «философов». Некоторые методологические замечания при изучении идеи классовой борьбы. Первоначальная форма учения о классовой борьбе. Морализующая точка зрения в оценке борьбы классов. Законченная форма представления о борьбе классов. Идея классовой борьбы во время революции. Идея борьбы классов в учениях революционеров и контр-революционеров. Теоретические взгляды Барнава на этот счет. Общественный человек и борьба классов в истории. Классовая дифференциация современного общества по Барнаву. Понимание идеи класса у Маркса и у Барнава. Пункты сходства и различия.

Глава V. Конечный исторический синтез

Барнав об историках своего времени. Требования, которые он предъявляет в историческому труду. «Право факта» и историзм у Барнава. Гильом-Тома, Рейналь и Барнав. Экономическая интерпретация истории у Рейналя. Барнав как историк Европы в новое время. Демократия и падение абсолютизма. Английские революции и французская революция. Барнав как историк «третьего сословия».

Заключение

Барнав, как историк и философ. Материалистическое понимание истории в XVIII веке и исторический материализм XIX века.

В нашей и других электронных библиотеках:

[Речь в Учредительном собрании 21 июня и 15 июля 1791 г.](#)

[Введение во Французскую революцию](#)

[О.Старосельская-Никитина. Очерки по истории науки и техники в период Французской буржуазной революции \(Барнав как историк и социолог\)](#)

[А.Тырсенко. 1791 год в политической эволюции Антуана Барнава](#)

[Г.Черткова. Барнав, Бабеф: два взгляда на французскую революцию](#)

[А.Тырсенко. Фейяны](#)

[А.Олар. Антуан Барнав. Глава из книги «Ораторы Революции»](#)

[Барнав и Робеспьер на Марсовом поле: как это могло не быть](#)

[Барнав и террор: мнение П.Гениффе](#)

[в романе А.Гладилина «Евангелие от Робеспьера»](#)

[Герои и Авторы - о Времени и о себе](#)

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

(Барнав в литературе).

Имя Барнава так же неразрывно связано с историей великой французской революции, как имена Мирабо, Дантона, Сьейеса или Робеспьера. Сам он говорил о себе на суде революционного трибунала в 1793 г.: „Никто, пожалуй, больше меня не являлся предметом всеобщего поклонения, скажу даже, всеобщего идолопоклонства... Имя Барнава было на всех устах, темой всех памфлетов и брошюр являлся Барнав“. И, действительно, раскройте желательные листы „Национальной Газеты“, больше известной под названием „Монитёра“, между 1789 и 1792 гг., время быстротечной политической карьеры Барнава, имя его будет попадаться вам почти на каждой странице отчета о дебатах в Национальном Собрании, или возьмите секретную светскую переписку, посвященную „двору и городу“ за время революции, заботливо собранную Де-Лескюром ¹⁾, и тут имя Барнава беспокоит светских сплетников, передающих о нем невероятные слухи; обратитесь, наконец, к памфлетам контр-революции и заядлых роялистов против Якобинского клуба, опубликованным Оларом ²⁾, и тут Барнав не дает покоя своим врагам, не щадящим красок для описания его кровожадности и свирепости. Действительно, имя Барнава на всех устах... Мелькает оно и на страницах общих историй революции, начиная с „Размышлений“

¹⁾ Correspondance secrète inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, publiée d'après les manuscrits par *M. De-Lescure*. Paris, 1866, 2 тома.

²⁾ La société des Jacobins. Recueil de documents pour l'histoire du club des Jacobins de Paris par *F. A. Aulard*. Особенно первые три тома.

г-жи Сталь, его современницы, и кончая недавно вышедшей „Революцией“ Луи Мадлена.

И, тем не менее, Барнав не скоро дождался своего биографа, память о нем оказалась основательно поблекшей к пятидесятым годам прошлого века, пока академик Беранже из Дромы в 1843 г. не воскресил нам подлинного Барнава, издав впервые его сочинения¹⁾. К этому изданию он присоединил довольно объемистую биографию Барнава, первоначально прочитанную на заседаниях Академии моральных и политических наук в конце июня 1843 года. В основу этой работы легли манускрипты Барнава, с благоговением извлеченные из семейного архива и предоставленные Беранже мадам Сен-Жермен, одной из двух сестер Барнава. Приходится сожалеть, что Беранже не решился опубликовать всех рукописей Барнава—неизданными остаются еще многие письма и бумаги Барнава, благодаря чему некоторые вопросы, связанные с его жизнью, все еще не могут считаться окончательно решенными.

Но биография, написанная Беранже, как всякое первое начинание, отличается крупными достоинствами и такими же крупными недостатками. К первым необходимо отнести аккуратное, методичное установление фактов из жизни Барнава, основанное на первоисточниках и увлекающее всей свежестью новизны. Беранже старается рассказать о самых мельчайших подробностях жизни своего героя, и в этом отношении его биография все еще остается непревзойденным образцом прагматического рассказа о жизни Барнава, оборвавшейся на 32 году. Но в то же самое время этот прагматизм утомляет читателя, которому нет-нет, да и хочется заглянуть в душу Барнава, остановиться на его переживаниях, задержаться несколько на противоречиях этой любопытной фигуры... Во всем этом отказывает своим читателям аккуратный Беранже, и в этом состоит главный недостаток его биографии,—тут вы не найдете истории внутреннего роста личности, стремления проследить образование идей, попытки проникнуть в развитие политиче-

ского, социального—не говоря уже об историческом—миросозерцания Барнава.

Больше того, при внимательном чтении биографии вы досадно наталкиваетесь на замалчивания, на нарочитую неопределенность в трактовке таких явлений, которые могли бы бросить прямую или косвенную тень на созданный биографом нравственный облик своего героя. Другими словами, биография Беранже порой превращается из летописи в апологию и даже в панегирик Барнава.

Сент-Бёв в своих „Понедельниках“ первый откликнулся на выход в свет произведений Барнава и сделал попытку нарисовать его портрет, затронув целый ряд вопросов вокруг духовного облика „молодого депутата из Дофинэ“¹⁾. С присущей ему тонкостью художественной кисти Сент-Бёв нарисовал мастерской портрет Барнава, как оратора Конституанты, указал на его диалектический талант, на логическое бесстрашие его мысли и на позитивный склад его ума. По пути Сент-Бёв, ссылаясь на лежавшие перед ним сочинения Барнава, постарался разорвать паутину легенд, сотканных фантазией вокруг его жизни, разобраться в противоречивых порой показаниях источников и разрешить ряд спорных вопросов в биографии Барнава.

Однако Сент-Бёв не ставил своей задачей дать очерк развития мировоззрения Барнава в его внутренней психологической последовательности и взаимообусловленности. Хотя и на этом пути его заинтересовали моральные идеи Барнава и даже метафизические убеждения последнего. Очерк Сент-Бёва имеет поэтому все достоинства яркой, но беглой характеристики, всю очаровательность четкого портрета, всю незабываемость яркого образа. Но образ этот—хороший портрет, красочная фотография, передающая черты своего героя в один только момент времени, и, как таковая, она не в силах разрешить вопроса о том, как развивалась и под чьим влиянием выросла эта любопытная личность, в которой подчас больше историзма в духе XIX века, чем рационалистического пафоса века Просвещения. Но как-раз эта сторона воззрений Барнава—его историко-фи-

¹⁾ *Oeuvres de Barnave* mises en ordre et précédées d'une notice historique sur Barnave par M. Béranger de la Drome, Pair de France, Membre de l'Institut. 4 vol-s. Paris. 1843

¹⁾ C.-A. Sainte-Beuve. *Causeries de Lundi*. Paris, Garnier frères t. II, 24—45.

лософские идеи—осталась незамеченной Сент-Бёвом, точно так же, как и следующим по времени биографом Барнава, Луи де Ломени¹⁾.

Ломени ставит своей задачей при помощи документов, опубликованных Беранже, „проникнуть в интимную глубину жизни и характера Барнава, изучить его по юношеским произведениям, которые предшествовали и подготовили его краткую, но славную карьеру“. Но выполняет ли свою задачу Ломени? На это приходится ответить отрицательно: у Ломени нет в сущности никакого проникновения в „интимность“, о которой он говорит, он просто передает своими словами рассказ Беранже, оживляя его разными бытовыми подробностями. Ломени и здесь, как и в других своих биографиях, больше занят частностями, мелкими подробностями, опуская за ними подлинную личность Барнава. Его больше интересует Барнав-оратор Конституанты, чем Барнав незаурядный мыслитель, политик историк и моралист.

Во всяком случае „эскиз“ Ломени не бесполезен для будущего биографа Барнава, так как и тут мы находим опровержение нескольких легенд, нескольких анекдотов и сплетен, прочно присосавшихся к репутации Барнава. Но и он носит чисто внешний, прагматический характер.

Олар в своей работе, посвященной ораторам революции²⁾, не в пример предыдущим биографам, низко оценивает ораторский талант Барнава. Не веря легенде о романе Барнава с королевой, Олар все же видит в Вареннском кризисе переломный момент в духовном развитии Барнава, что отрицается единодушно и Сент-Бёвом, и Ломени. „Путешествие в Варенн трансформировало этого человека“, говорит Олар, „бывшего более впечатлительным, чем он то желал казаться“. Так как этот вопрос далеко не безразличен для истории личности Барнава, ниже мы увидим, насколько прав Олар в этом утверждении, тем более, что это как-раз тесно связано с формированием исторических идей Барнава, о которых Олар не говорит ни слова.

Впрочем, кратко останавливаясь на самой личности Барнава, Олар совершенно правильно отметил в нем постоянное стремление установить начала „позитивной политики“, непримиримую и последовательную вражду к метафизике, преклонение перед опытом, отрицание всякой чистой теории и решительное предпочтение истории¹⁾.

Жорес первый на странице своей „Социалистической Истории“ указал на важность исторических идей Барнава²⁾. Для него Барнав, „одна из любопытнейших личностей этой эпохи“, в которой он усматривает даже „некоторые черты Стендаля“. Беглыми штрихами Жорес старается набросать духовный облик Барнава, в котором мы различаем „непостоянство, неустойчивость, молчаливое тщеславие“. Несмотря на всю свою серьезность, Жорес предпочитает верить „увлечению романтическими чарами при Вареннской аванюре“ и безапелляционно заявляет, что Барнав „погиб на эшафоте, пережив заключение и нравственную агонию, при чем его слабая душа, повидимому, не вынесла обрушившегося на него удара судьбы“³⁾. Но подобной характеристике противоречат другие места в этом же произведении Жореса, где перед нами встает не романтический Барнав, а Барнав—серьезный мыслитель и политик, воплощение буржуазной идеологии, и социолог, „предвосхищающий марксистское толкование истории“.

Ценным и заслуживающим самого подробного рассмотрения является не выше приведенная характеристика Барнава, неверная и в общем, и в частности, а внимание, с которым Жорес отнесся к историко-философским воззрениям Барнава. Приведя несколько страниц отрывков из главного исторического произведения Барнава „Введение во Французскую Революцию“, Жорес заключает: „это—в самом деле первые наброски экономического материализма Маркса“, „... в своем общем обзоре социальной эволюции Барнав предвосхищает главное произведение Маркса“ (Жорес подразумевает здесь под главным произведением Маркса „Коммунистический Манифест“, в котором, действи-

¹⁾ *Louis de Loménie*. Esquisses historiques et littéraires. Paris. 1879.

²⁾ *A. Aulard*. L'éloquence parlementaire pendant la révolution française. Les orateurs de l'assemblée constituante (есть русск. пер.) 1907.

¹⁾ «Ораторы революции», русский перевод Л. Борисовича, стр. 293—295.

²⁾ *Histoire Socialiste* (1798—1900) sous la direction de Jean Jaurès La Constituante (1789—1791) par Jean Jaurès, p. 97—108.

³⁾ *Jaurès*. La Constituante, pp. 373—374.

тельно дана яркая схема исторического материализма Маркса), и далее показав, как Барнав в своем произведении понимает причины реформации, Жорес заключает: „В Дофинэ, где промышленность была весьма развита, буржуазная мысль достигла такой степени ясности, что в лице своего юного представителя буржуазия Дофинэ, формулируя экономическое истолкование революции, до некоторой степени предвосхищает марксистское истолкование истории“¹⁾. И еще в одном месте Жорес говорит: „Барнав... с наибольшей отчетливостью формулировал социальные причины и, так сказать, экономическую теорию французской революции. Марксу, повидимому, остались неизвестны эти тексты, представляющие собой как бы предвосхищение его доктрины, в применении к буржуазной революции“²⁾.

Итак, Жорес прежде всего обращает внимание на самое содержание историко-философских идей Барнава, приводя из них длинные выдержки; затем характеризует среду, где они возникли, утверждая, что Барнав удачно схватил и передал те мысли, которые одушевляли буржуазию Дофинэ, опередившую в своем промышленном развитии другие провинции старой Франции; и наконец, Жорес пытается усмотреть в исторических идеях Барнава первые шаги к материалистическому пониманию истории, наиболее яркое и законченное выражение которого мы находим в социологии Маркса и Энгельса, как она сложилась ко второй половине XIX века.

Э. Бернштейн, давший немецкий перевод отрывков из „Введения во Французскую Революцию“, помещенных у Жореса, прямо называет Барнава „предшественником материалистического воззрения на историю“³⁾. Бернштейн отмечает, что Барнав в этих отрывках „предваряет весьма существенные идеи, образующие материалистическое понимание истории“. Но в то же время он не останавливается на интересном вопросе, какие из элементов исторического материализма и в какой логической связи уже встречаются

в социологии Барнава и какие элементы все еще чужды ему. Правда, заключая свой перевод отрывков, Бернштейн указывает на два обстоятельства, а именно, что Барнав не подозревает выступления на историческую сцену нового класса — пролетариата, унаследовавшего революционную миссию буржуазии, а во-вторых, что Барнав обладал весьма примитивными экономическими познаниями и поверхностно оценивал влияние техники. Что касается первого обстоятельства, то на него обратил внимание еще Жорес, а что касается примитивности экономических познаний у Барнава, надо сказать, последний был не только на уровне научно-экономических достижений своего времени, но и имел на этот счет вполне самостоятельные взгляды, не лишенные проницательности и глубины.

В своем большом труде, посвященном социологии Маркса, Генрих Кунов несколько раз упоминает об историко-философских идеях Барнава, но не подвергает их специально рассмотрению; так, разбирая вопрос, как понималась в революционном государственном праве руссоистская идея общей воли, он ссылается на речь Барнава о цензе (11 августа 1791 г.), как на типичную для буржуазной точки зрения⁴⁾.

Кунов отмечает также, что у многих политиков времен революции было представление, что отношения собственности являются могущественным фактором во внутренней жизни государства. Наиболее типичными в этом отношении он справедливо считает взгляды Барнава, который в отношениях собственности усматривал основной исторический фактор⁵⁾.

Дальше этих беглых замечаний Кунов не идет, и очень просто, почему: он знаком с произведениями Барнава только по выдержкам из истории Конституанты Жореса³⁾.

¹⁾ *Heinrich Cunow*. Die Marxsche Geschichts-Gesellschafts- und Staatstheorie Grundzüge der Marxschen Soziologie. Berlin 1921. B I, S 140—141.

²⁾ *H. Cunow*, op. cit. S. 156—157.

³⁾ *H. Cunow*, S. 157. Ссылка на Барнава в связи с учением Сен-Симона о прогрессе, B. I, S. 163. Сравнение взглядов Канта на пределы избирательного права со взглядами французских либералов в Национальном Собрании; Кунов утверждает, что Кант в этом отношении говорит совершенно в духе Барнава. B. I, S. 220—221. Это бесспорно очень интересно, но относится скорее к политическим идеям последнего.

¹⁾ *Jaurès*. La Constituante, pp. 98, 102, 108.

²⁾ *Jaurès*, op. cit., p. 97.

³⁾ *Dokumente des Sozialismus* herausgegeben von Ed. Bernstein. Band. III. Ein französischer Parteiführer von 1789 als Vorläufer der materialistischen Geschichtsauffassung. S.S. 59—65.

К четырем томам сочинений Барнава необходимо присоединить два его неизданных письма, опубликованные Бейлие в 1906 году ¹⁾. Письма эти, найденные издателем в Национальном Архиве, относятся: одно к взятию Бастилии, другое к кризису 5—6 октября 1789 г. Первое из них, где Барнав рассказывает о парижских событиях по слухам, дошедшим до него, не имеет особого значения, так как не прибавляет ничего нового к мемуарам Барнава. Второе, написанное, повидимому, под свежим впечатлением виденного, дает много интересного для историка „октябрьских“ дней 1789 года ²⁾.

Последующее развитие историографии о Барнаве уклонилось от этого интереса к его политико-социальным и историческим воззрениям и больше всего занялось романтическим сюжетом взаимоотношений между Барнавом и королевой. Повод к этому был дан опубликованной Гейденстамом в 1913 г. перепиской Барнава с Марией-Антуанеттой ³⁾. В обширной библиотеке одного фамильного замка, перешедшего в потомство по женской линии неизвестного во время Революции графа Акселя Ферзена, Гейденстам нашел два пакета с письмами, один из которых содержал переписку Ферзена со своей сестрой, графиней Софией Пипер, а другой с пометкой „политическая переписка королевы“, хранил в себе переписку Марии-Антуанетты с Барнавом и другими членами конституционного крыла Учредительного Собрания, завязавшуюся после бегства в Варенн. Спрашивается, каким образом столь интимная переписка могла оказаться в фамильном архиве Ферзенов-Пиперов? На это Гейденстам на основании писем Ферзена утверждает, что последний во время своего тайного пребывания во Франции в феврале 1792 г. получил от королевы всю ее тайную переписку и увез с собой в Брюссель, откуда и переслал своей сестре Софии

Пипер в Швецию ⁴⁾. Несмотря на такое весьма правдоподобное объяснение, переписка, опубликованная Гейденстамом, сразу же вызвала сомнения в своей подлинности со стороны научной критики. Глогау одним из первых подверг основательному разбору подлинность писем Марии-Антуанетты и Барнава; раздались сомнения и во французской прессе. В ответ на это появилось ⁵⁾ основательное исследование двух стокгольмских библиотекарей, защищающее подлинность писем. Глогау тогда заподозрил правильность библиотечарских изысканий и привел новые аргументы для опровержения сборника Гейденстама ⁶⁾.

Вопрос о спорном источнике так и не получил, насколько нам известно, своего окончательного разрешения. Между тем для изучения как биографии, так и политических идей Барнава вопрос этот является далеко не безразличным. В пользу подлинности писем, исходивших, надо сказать, не от одного Барнава, а от целого кружка конституционалистов, говорит то, что сопоставление встречающихся в них мыслей, выражений, отдельных оборотов речи с мемуарами Барнава, с отрывками заведомо подлинных его писем обнаруживает полную согласованность, а иногда поразительную тождественность ⁴⁾.

Историк французской эмиграции Эрнест Додэ не сомневается в подлинности писем Гейденстама и строит на них свой рассказ о сношениях королевы с комитетом „пяти“, где главную роль играл Барнав ⁵⁾. Стоит отметить, что Додэ какими-то неисповедимыми путями пришел к выводу, что Барнав был „другом“ г-жи Ролан. В осталь-

¹⁾ J. Beylié. Lettres inédites de Barnave Grenoble, 1906, p. 29

²⁾ Луи Мадлен, кажется, первый из историков революции воспользовался, между прочими документами, этим письмом Барнава в своем рассказе об „октябрьских днях“. См. Louis Madelin. La Révolution, p. 92—98.

³⁾ Marie-Antoinette, Fersen et Barnave, leur correspondance par O. G. de Heidenstam. Paris, Calmann-Lévy.

⁴⁾ См. Klinckowström. Fersen et la Cour de la France, II, 145 и passim.

⁵⁾ Internationale Monatsschrift (№ от июня 1914 г.).

⁶⁾ Annales Révolutionnaires 1914, t VII, 613.

⁴⁾ См. для сличения: Heidenstam, p. 195—197, Oeuvres de Barnave II. 305—306, 316—340. Подробную аргументацию своего взгляда я считаю в настоящем месте излишней, так как это отвлекло бы нас в сторону от темы — обрисовать, главным образом, историческое мировоззрение Барнава. Для выполнения последней задачи спорный источник без всякого ущерба может быть устранен с поля исследования.

⁵⁾ Ernest Daudet. Autour de Marie-Antoinette. Revue des deux Mondes. Janvier 1914, p. 124—128.

ном статья является литературной обработкой материалов Гейденстама.

На этом же спорном источнике построена недавно вышедшая книга Э. Вельвера „Секрет Барнава“¹⁾ и панегирический очерк жизни Барнава, принадлежащий перу мисс Бредби²⁾.

Резюмируя наш краткий обзор, можно сказать, что Барнав заинтересовал историков, главным образом, со стороны внешних событий своей действительно необыкновенно яркой по успеху и не менее стремительной по падению жизни. Но удивляться тут не приходится: бурное время, когда пришлось жить и действовать Барнаву, сплетало для своих героев и не такие неожиданности. Напротив, содержание политико-социальных идей Барнава, не говоря уже об историко-философских его взглядах, как-то не привлекало к себе внимания исследователей. Только Жорес постарался оценить роль Барнава в революции, как „истинного вождя буржуазии“ и „теоретика средних классов“. Вслед за автором „Социалистической Истории“ на эту сторону дела обратили внимание Эдуард Бернштейн и Генрих Кунов, но и тот, и другой ограничились краткими и случайными замечаниями.

Между тем, когда имеешь дело с таким мыслителем, как Барнав, убеждаешься в том, что политические воззрения далеко не исчерпывают его „идеологии“, так как они сами оказываются только выводами, построенными на стройно обдуманной и целостно претворенной системе законченного историко-философского мировоззрения.

Более того, с методологической точки зрения оказывается возможным говорить об *историзме* Барнава, как о своеобразной стихии, которая определяла не только его политико-социальные построения, но предопределяла известный подход к нравственно должному и к фактически сущему.

Диалектически разматывая клубок всемирной истории и устремляясь вперед вместе с беспокойно-подвижной сти-

хией общественных трансформаций,—Барнав отдает дань духу своего времени, явившемуся отцом всей последующей философии истории. В этой связи идей он предвосхищает отдельные важные моменты диалектического понимания истории, развитого впоследствии в теориях великих социалистов XIX века.

Но, вместе с тем, он умеет отдать должное своеобразной особенности отдельных явлений, подойти к ним с меркой исследователя и применить к ним историческую индукцию.

С одной стороны, он живет и полной грудью вдыхает в себя атмосферу рационалистического века, с другой—он заходит далеко вперед и смело намечает результаты, к которым пришли наиболее глубокие достижения исторической мысли XIX века.

Историзм, как метод, как унастроение, как мироощущение, стал довольно рано пробиваться в атмосфере полного торжества рационалистической философии. В Монтескье мы видим борьбу двух стихий—историко-реалистической, основанной на уважении перед фактом, и политико-рационалистической, исходящей из преклонения перед априорным правом. Автору „Духа Законов“ так и не удалось преодолеть этой двойственности, что привело его в конечном счете к глубоко пессимистической оценке окружающей жизни и общества¹⁾.

Ученик Монтескье, Барнав сумел совместить в себе обе стихии и преодолеть противоречие путем отказа от абсолютно-неизменных норм и перехода к чистой исторической эмпирии.

Предпринимаемое исследование и ставит своей задачей показать, как мог образоваться и сформироваться этот своеобразный историзм у одного из ярких представителей „разрушительных“ начал рационалистической философии; последнее, само собой разумеется, возможно при условии, если мы постараемся проникнуть в ту историческую атмосферу, которую застал и в которой духовно рос и развивался Барнав. Таким образом, путь к пониманию исто-

¹⁾ E. Welvert. Le secret de Barnave. Barnave et Marie-Antoinette. Paris, Bocard, 1920.

²⁾ Miss Bradby. Vie de Barnave. См. André Beaunier. Barnave et la Reine. Revue des deux Mondes, 1920, t. 58, p. 645.

¹⁾ Борьбу этих тенденций прослеживает у Монтескье А. Г. Вульфус в статье «Монтескье—политик и историк», помещенной в сборнике «Из далекого и близкого прошлого» в честь 50-летия научной жизни Н. И. Кареева. Петроград, 1923, 143—145.

рических идей Барнава лежит через сравнительную оценку тех течений философии, которые в той или иной мере сознательно становились на путь объяснения исторического движения из объективно-необходимых потребностей общественного человека. Только взвесив их относительные влияния и показав, чем Барнав был обязан каждому из них, можно будет понять, каким образом многообразные влияния, которые перекрещивались в нем, могли подготовить тот позитивно-исторический, а иногда прямо материалистический взгляд на вещи, отразившийся и на его политико-социальных убеждениях.

Таким образом, Барнав—историк и философ объясняет нам Барнава—политика и революционера. И не случайным, быть-может, является то обстоятельство, что загадки и легенды, окутывающие судьбу Барнава, отчасти обязаны своим возникновением тому, что к изучению ее подходили не с той стороны и не с тем методом, которых заслуживает этот любопытнейший из „людей 1789 года“, в котором одни видели черты самовлюбленного Нарцисса, другие—„кровожадного палача“ революции, а третьи—коварного заговорщика из таинственного „австрийского комитета“, прельщенного чарами Марии-Антуанетты.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Человек и жизнь.

plus on examine les personnages en apparence les plus actifs de la revolution, et plus on trouve en eux quelque chose de passif et de mécanique On ne saurait trop le répéter, ce ne sont point les hommes qui menent la revolution, c'est la revolution qui emploie les hommes On dit fort bien, quand on dit *qu'elle va toute seule*.

Joseph de Maistre Considerations

ГЛАВА I.

До революции.

Антуан-Пьер-Мари-Жозеф Барнав родился в Гренобле, в провинции Дофинэ, 22 октября 1761 г. Он был таким образом одним из самых младших представителей того поколения, которое было вынесено на гребень революционной волны событиями 1789 года. Он был на год моложе Камилла Демулена, родившегося в 1760 году, на два — Робеспьера, Дантона и Верньо, появившихся в 1759 г., и на три года Мунье, своего соотечественника и руководителя по первым шагам на политической арене, родившегося в 1758 году.

Но настоящая родина Барнавов была небольшая коммуна Вершени в округе Сальянс (Saillans), покрытом деревушками, работавшими над выделкой сукон, сбывавшихся в города Кре (Crest) и Дьелефит (Dieulefit). Коммуна Вершени тоже входила в состав такой разбросанной по деревням „суконной мануфактуры“, которыми была богата провинция, составлявшая когда-то „удел“ наследника французского престола.

Впрочем, семья Барнавов не была связана с этим деревенским индустриализмом, так как отец Барнава считал за благо устроиться в Гренобле, купив себе должность консульториального адвоката и войдя в круг судейской магистратуры, группировавшейся вокруг парламента. Впрочем, протестантская религия отца Барнава послужила препятствием тому, чтобы он вошел непосредственно в ряды наследственной судейской знати, подобно тому, как она же несколько позже помешала его талантливому сыну сделать карьеру в Гренобльском „Хранилище Законов“.

Нам теперь не трудно представить себе ту общественную среду, в которой рос молодой Барнав. Сознания свое достоинство интеллигенция, близко сходявшаяся с чванливой знатью из судейской магистратуры, с которой ее сближала и общность происхождения, и общность интересов, и взаимное сочувствие в оппозиции непопулярному „деспотическому“ режиму. Эта оппозиция существующему строю, не столько угнетавшему, сколько оскорблявшему, удивительным образом уживалась с желанием во всем сравняться с привилегированным „дворянством шпаги“, ни в чем от него не отстать и при первом же случае забыть свое политическое бесправие покупкой должности, дававшей право на „дворянство платья“.

Это было время, когда Дантон, будущий революционный стентор, любил подписываться Д'Антон, когда республиканец Бриссо называл себя „де Варвилем“ и Барер был без кавычек „де Вьезаком“. Бомарше с присущим ему откровенным цинизмом замечательно хорошо передал чувства новоиспеченного дворянина, сказав о своем благоприобретенном дворянстве: „Оно со мной, мое дворянство, вот, тут, на хорошем пергаменте, за большой печатью из желтого воска; не как у многих других неопределенно и на словах, — и никому в голову не придет оспаривать его у меня, так как вот вам и квитанция“.

Отец Барнава тоже пользовался благами личного дворянства и был проникнут тем чувством повышенного достоинства, когда человек ежеминутно боится, что ему вот-вот наступят на ногу.

Один случай, на котором останавливаются почти все биографы Барнава, характерен для психологии этой среды. Он разыгрался на почве того, что губернатор провинции герцог Клермон-Тоннер хотел силой вывести из театра г-жу Барнав с 9-тилетним сыном, не соглашавшуюся очистить место, предназначенное для одного из любимцев герцога. Публика в знак протеста покинула спектакль, многие собрались у Барнавов, выражая им свое сочувствие, а буржуазия решила на некоторое время бойкотировать театр. Несомненно 9-летний Барнав наблюдал эти сцены общественной солидарности и протеста, тем более, что ретивый

герцог тотчас написал в Париж, представив все дело, как сопротивление предрержавшим властям.

Если перейти от этих неопределенных впечатлений детства к юности, то чем ближе к сознательному возрасту, тем легче становится следить за духовным развитием Барнава. Он сам дал нам драгоценную нить для этого, рано начав поверять свои мысли бумаге. Отрывки из этих дневников, начинающихся с 18 — 19 летнего возраста, письма к отцу и сестрам, сохранившиеся в бумагах Барнава, открывают завесу над формированием его духовного образа, а впоследствии политические брошюры и речи, сходные с мемуарами и „политическими размышлениями“, представляют драгоценный источник для оценки различных, порой противоречивых стремлений его личности.

Мы застаем Барнава во власти той сентиментально-слащавой литературы, той чувствительно повышенной реторики, которой гений Жан-Жака Руссо придал столько чарующей прелести. Впоследствии Барнав, уже искушенный опытом политик, предупреждал молодежь от чар этого „философа“, который „всех свел с ума“. Но как можно было удержаться от них в годы бодрящей юности, когда призывы к природе так легко находили отклик в восторженной душе, и окружающая жизнь манила тысячью непредвиденных возможностей. Барнав проникался этой жизнерадостностью, соединявшейся и тогда уже со страстью к успеху, блеску и влиянию. Пока успех этот распространялся только на молодых поклонниц, старый отец Барнава ворчал и упрекал сына в легкомыслии и непостоянстве. В ответ 19-летний Барнав писал отцу длинные и скучные письма с извинениями, где нетрудно приметить склонность к размышлению и привычку рационализировать каждый свой шаг, сообщая письмам некоторую холодность и сухость ¹⁾.

Но подлинный Барнав не раскрывается в этих письмах к всегда остававшемуся для него чуждым дельцу-отцу; напротив, в письмах к матери и сестрам перед нами встает другой Барнав, живой и пылкий, стремительный и романтический.

¹⁾ Oeuvres de Bainave, IV, p 318

Смерть горячо любимого брата, умершего на его руках, особенно поразила Барнава — это было первой тучкой на безоблачном небосклоне его молодости. Заметки на смерть брата обвьяны задуманными рыданиями, глубокими вздохами и размышлениями на фоне уныло шумящего осеннего сада, навевающего тихую грусть. Однако, и тут чувствуются риторический пафос, сентиментальная слеза, чувствительное самолюбование на фоне картины, в которой порой обозначаются какие-то смутные туманные романтические дали — предвестия новых чувств, иных переживаний: „Дул ветер с юга, весь день он шевелил деревьями в саду и сбивал последние листья этого года“. И тут же рядом с этими строками в стиле „осенней скрипки“ Поля Верлена, психологически тонкий образ матери, ищущей успокоения душевной боли в меланхолической гармонии осеннего сада и, наконец, истекающей на руках у сына в потоке облегчающих слез. Слезы и натурализм — как близок Барнав к своему сентиментальному веку ¹⁾.

Но философы влияли не только на сердце и чувствительность Барнава, гораздо определеннее их влияние сказывается на его умственных запросах. В 1781 г. двадцатилетний Барнав, подражая Вольтеру и Дидро, собирает в алфавитном порядке материалы для своей энциклопедии, озаглавленной: „Словарь для мыслей, или собрание размышлений по морали, философии, поэзии, а также о возвышенном и фривольном, точном и неточном, действительном, ложном и предположительном“ ²⁾. Беранже не нашел места в своем издании для этих набросков Барнава, хотя похвально отзываясь о них, и, тем не менее, это досадный пробел в нашем знакомстве с молодым Барнавом.

Но жизнерадостно-чувствительный Барнав, кающийся в письмах к отцу в увлечениях молодости, обвьянный первыми впечатлениями от чтения философов и новых учителей жизни, все еще совмещает с ними традиции протестантского пиетизма своей семьи и не прочь иногда щегольнуть благочестивыми наставлениями в духе аскетической веры Кальвина. В том же году, когда он составлял свой

словарь „философских размышлений“, он пишет к своим сестрам из Вершени: „будьте покорны, любите тишину, уединение, научитесь предпочитать тишину монастыря шумному свету, вышивайте старательно жилеты, научитесь хорошо кроить рубашки, и я вам обещаю счастье на земле и на небе“ ¹⁾. „В этом отношении я могу сослаться на авторитет многих святых“, — менторски продолжает свое послание Барнав — „жития и писания которых у нас здесь имеются. Я мог бы сослаться на них, если бы вы, к несчастью для себя, не были так невежественны. Никогда не занимайтесь чтением или писательством, ибо, помимо того, что это портит взгляды, все это суть измышления дьявола. Впрочем, вам разрешается прочесть это письмо и ответить на него“. И далее он учительствует сестрам развивать „естественные качества... те качества, которые получены от природы и воспитания, и, главное, помнить, что скромность, простота украшают женщину и являются залогом прочного счастья здесь на земле“. Рекомендуя подражать примеру святых, Барнав говорит: следуйте этой дорогой... всякая другая даст вам счастье только на этой грешной земле (*ce globe périssable*), тогда как первая непременно приведет вас к вечному блаженству: что же чему предпочесть“?

Эти строчки, которые едва ли, впрочем, можно брать всерьез, звучат таким резким диссонансом со всем тем, что мы знаем о жовиальном Барнаве, что даже сестрам он считает нужным добавить в заключение: „Угадаете ли вы, что это я? Какие успехи после того, как мы расстались“? ²⁾

Трудно сказать, чего больше в этом любопытном послании 20-летнего Барнава к своим сестрам — лукавой шутки жовиального молодого человека, вдруг принявшего вид самого постного благочестия, или резонерского пренебрежения к женской судьбе, осужденной на скромную охрану семейного очага и не призванной к высокому общению с философами.

В это время как-раз Барнав усиленно занимается историей и правом, штудировать по несколько раз Монтескьё,

¹⁾ Oeuvres, IV, 330—331.

²⁾ Oeuvres, I, IX

¹⁾ Письмо от 6 января 1781 г Oeuvres, IV, 319.

²⁾ Oeuvres, IV, 319 — 321.

сидит над капитуляриями Бальюза, проникается оппозиционным духом „Максим французского публичного права“ и всей той литературой, откуда парламентская знать, близкая его дому, черпала свои аргументы против деспотизма ¹⁾.

Тем не менее, уступая отцу, молодой Барнав на время покидает книги и идет по его стопам в адвокатуру. Тут жизнь затягивает его, судебный успех кружит ему голову, и он начинает мечтать о том, чтобы войти полноправным членом в эту маститую корпорацию, которая мнила себя китом, на котором покоятся судьбы монархии. Адвокатура, кстати сказать, сближавшая Барнава сына с кругами парламентской магистратуры, и была той школой, где он практически развился и упорной работой над собой приобрел те ораторские навыки, которые в свое время выдвинули его в число первых ораторов Конституанты.

В то время молодые юристы в порядке известной очереди должны были выступать в пленарных заседаниях парламента с произнесением речей, которые по традиции посвящались общим вопросам права и политики. 22-летний Барнав выбрал темой для своей maiden speech злободневный и несколько щекотливый вопрос „о разделении властей“, показав в ней себя не только пламенным учеником Монтескьё, но и либерально настроенным гражданином. Это последнее обстоятельство и доставило успех Барнаву среди хронически фрондирующего судейского ареопага. Сам Барнав был не особенно высокого мнения об этом первом своем политическом опыте: „эта маленькая работа представляла без сомнения весьма слабый набросок на необъятную тему, но она дышала страстью к свободе и свидетельствовала о самом независимом полете мысли“ ²⁾. Того же мнения, повидимому, держался и издатель его произведений, не нашедший для него места в собрании сочинений Барнава.

Уже в эти переходные от юности к зрелому возрасту годы автор „Духа Законов“ начал оказывать свое определяющее влияние на направление и склад мыслей Барнава, влияние, от которого Барнав не освободился до конца своих, правда

насильственно оборванных дней. Все поколение, которому пришлось делать революцию, прошло так или иначе через школу Монтескьё, которая порой уживалась в их умах с самыми противоположными влияниями. Вспомним хотя бы Сен-Жюста, считавшего себя одно время учеником Монтескьё, но так и не переварившего философии „Духа Законов“ ¹⁾.

На Барнаве раннее влияние Монтескьё сказывается не только в усвоении им политической схемы балансирования трех разграниченных властей, но идет гораздо глубже и касается самих основ и методологической канвы знаменитого произведения. Барнав рано, с присущей ему чуткостью, заметил, что центр тяжести у Монтескьё не в должном, а в сущем, реальном, эмпирически необходимом; в истории, не в отвлеченном праве, как таковом, а в факте, не в теории, а в повседневной практике законодательства и управления. Под влиянием Монтескьё Барнав начинает ценить факт и практику не только в истории и публичном праве, т. е. чисто теоретически, а принципиально старается провести такую оценку в сферу своей внутренней жизни и практики. Так, на переломе от 23-го к 24-му году своей жизни (в 1784 г.) он пишет в своем дневнике: „Прошедший год произвел во мне прогресс, в смысле перехода во всем от теории к практике; я научился больше наблюдать факты, а мои размышления более непосредственно стали связываться с ними; записки мои изменились в соответствии с моими мыслями; моя оценка людей и вещей понемногу стала сообразоваться с ходом моих идей“ ²⁾. И тут же вполне естественное недовольство своими прежними достижениями, суровое осуждение всего ранее написанного и смутное беспокойство и тоска по какому-то большому, настоящему делу; отсутствие непосредственной яркой жизненной цели и на этой психологической канве — чувство неопределенности, расплывчатости, ленивости духа и характера ³⁾.

¹⁾ Oeuvres complètes de Saint-Just avec une introduction et des notes par Ch. Vellay — Я разумею первую его работу, «L'esprit de la Revolution et de la Constitution de France», вышедшую в 1791 г с автографом из Монтескьё

²⁾ Oeuvres, I p, XI — XII Notice historique

³⁾ Та же запись в дневнике Oeuvres, I, XII — XIII

¹⁾ Oeuvres de Barnave, IV, 260 — 261 и след.

²⁾ Oeuvres, I, XVII — XVIII, 96.

С такими мыслями и чувствами, с такими предрасположениями и симпатиями, Барнав при первом же удобном случае был готов окунуться с головой в настоящее дело и весь с молодой пылкостью отдать ему. И действительно, как только появились первые, еще слабые зарницы грядущих бурь и потрясений — первое созвание нотаблей в 1787 г., молодой Барнав весь уходит в политику. „С момента созыва нотаблей“, вспоминает он, „я только и занимался политическими вопросами; мысль видеть освобождение отечества и касту, к которой я принадлежал, поднятой из того состояния угнетения, на которое безумное правительство, казалось, навсегда осудило ее — подняла все силы моей души, наполнив меня пылом и энтузиазмом; я посвятил свою жизнь делу свободы и предался тем работам, которые могли бы сделать меня способным послужить ему“¹⁾.

Одна из тех бестактностей, которые так часто совершает режим, дни которого сочтены, разожгла недовольство среди парламентской магистратуры города Гренобля. Дело шло о том, чтобы подвергнуть обычной верификации и регистрации в местном парламенте королевский регламент, учреждавший процедуру созыва и открытия провинциальных штатов. Но власть неосмотрительно нарушила этот традиционный порядок санкционирования законов и вдобавок обрушилась репрессиями на непокорных чиновников. Парламент решил протестовать и представить королю „ремонтрацию“. Тогда парламент был окружен войсками, и королевские эдикты были зарегистрированы *manu militari* (20 мая 1788 г.). Такова была завязка той истории, которая впоследствии получила громкое название: „революция в Дофине“.

Чтобы оценить позицию Барнава в этом движении, нужно себе представить, из кого состояла оппозиция и какие цели она себе ставила. Историк этих дней, Марсель Бланшар, очень определенно нам указывает, что оппозиция состояла из трех социальных элементов — состоятельных буржуа, либеральных дворян и фрондирующих парламентариев. Опираясь на архивный материал, не в пример другим историкам Дофина, Бланшар утверждает, что движение

отнюдь не носило демократического характера — парламентарии стремились во что бы то ни стало сохранить свои сословные привилегии, которым угрожало создание новых судов (*сours plénières* с его отделениями вместо всесильного парламента), что же касается гренобльских буржуа, то им прежде всего хотелось, раздув местное движение на всю Францию, добиться для себя некоторых политических льгот¹⁾.

Впрочем в самом Гренобле движение захватило широкие круги населения, при чем инициативу сопротивления властям взял на себя муниципалитет города, организовавший известное собрание трех сословий провинции в замке Визиль (21 июля 1788 г.), где участвовали в качестве представителей своей „касты“ Барнавы — отец и сын. Но рядом с муниципалитетом и парламентом действовал негласный комитет, составленный преимущественно из магистратуры, во главе которого стоял Мунье, рядом с которым находился молодой Барнав. Этот-то комитет и представлял душу движения.

Беранже, самый обстоятельный из биографов Барнава, детально останавливаясь на движении в Гренобле, упоминает о Барнаве только в связи с его брошюрой, явившейся ответом на насильственно проведенные законы, и его участием в Визильском съезде²⁾. Между тем, как мы видим, роль Барнава не ограничилась этим. Гренобльский комитет решил привлечь на свою сторону не только горожан, но перебросить движение в окружающие селения, а потом и дальше, поднять крестьян, горожан и коммуны соседних бургов и даже завязать сношения с другими оппозиционно настроенными областями Франции. Для этой цели комитет решил осуществить энергичную пропаганду своих взглядов, ту самую „брошюрную кампанию“, о которой говорит нам Марсель Бланшар³⁾. Главными редакторами этих плакатов, листовок, воззваний и брошюр были Мунье и Барнав, причем роли были поделены таким образом, что Мунье взял на себя изложение фактов, аргументацию, призывы к разуму, а Барнав — воздействие на чувства и воображение

¹⁾ *Marcel Blanchard*. Une campagne de brochures dans l'agitation dauphinoise de l'été 1788 *La Révolution Française*, revue, LXV, p. 232—233.

²⁾ *Oeuvres de Barnave*, I, XXVI, XXX.

³⁾ *M. Blanchard*, *op cit*, p. 227—228.

своих сограждан. В этой коллекции агитационных брошюр Барнаву принадлежит не один „Дух Эдиктов“, как то полагает Беранже, а за ним и другие биографы, а по крайней мере еще три брошюры, правда, значительно меньшие по объему, до сих пор погребенные в недрах муниципальной библиотеки Гренобля ¹⁾. Их заглавия так же характерны, как замечательно название первой и основной брошюры Барнава: 1) „Письмо некоего поселянина господину своему субделегату“, 2) „Письмо некоего члена третьего сословия в Дофинэ ревностному гражданину“ и 3) „Profession de foi (исповедание веры) военного“ ²⁾.

Итак, оппозиция „деспотизму“ в лице старого режима увлекает Барнава в свои ряды и дает ему первый революционный и мятежный опыт. Но здесь нас интересует не столько деятельность Барнава в рядах провинциальной оппозиции, сколько политико-социальные его идеи накануне революции, поскольку они отразились в его сочинениях. „Дух Эдиктов“ дает в этом отношении интересный материал, оценить который не пришло в голову ни одному из биографов Барнава. Между тем этот источник заслуживает самого пристального внимания.

Прежде всего самое заглавие брошюры „Дух Эдиктов“ не может не напомнить „Духа Законов“, влияние которого сказывается, однако, не в одном этом. Собственно, Барнав ставит своей задачей объяснить своим соотечественникам, что могут дать им и что представляют эдикты, которыми правительство облагодетельствовало провинцию. Но эта простая задача строится на определенном принципиальном фундаменте, в котором и заключается главный интерес брошюры.

Франция представляется Барнаву деспотическим государством, где вообще опасно производить какие-либо перемены из страха еще больше усилить власть. Вот почему он возражает против введения провинциальных штатов в Дофинэ „у такого народа, как наш, развращены все источники добра, а потому равенство в самом распределении налогов

может превратиться здесь во зло“ ¹⁾. Унаследовав органическое отвращение и боязнь деспотизма от автора „Духа Законов“, Барнав однако смело отходит от социального мировоззрения Монтескьё и заявляет, что он становится на защиту, с одной стороны, третьего сословия, с другой — магистратуры. О восстановлении прав униженной „касты“ мы уже слышали из уст Барнава, и в том, что буржуа Барнав становится на защиту прав буржуазии, нет ничего странного. Несколько иначе звучит намерение Барнава защищать вместе с тем парламентскую магистратуру. Барнав, впрочем, сам берет на себя труд разъяснить, почему он собирается защищать рядом с третьим сословием и парламент. „Магистратура“, говорит он, „являясь органом и хранительницей (dépositaire) законов королевства, отправляя важную функцию общественной власти и с давних времен пользуясь правом выражать желания нации при поддержке и доверии народа, представляла могучую преграду [деспотизму]; она оставила свои долгие притязания, чтобы потребовать обратно древние права и защитить свободу народа; и вот, начинают с того, что ее уничтожают...“ ²⁾.

И Монтескьё, как известно, считал необходимым выдвигать против деспотизма „посредствующие и подчиненные власти“, которые безразлично усматривал в прерогативах господ, духовенства, дворянства, городов и судебных корпораций; все они казались ему одинаково пригодными, чтобы уравновесить одностороннее давление деспотизма и тем самым предохранить от извращения монархический принцип ³⁾.

Барнав формулирует свою точку зрения более категорически, чем Монтескьё, он устраняет все сословия, кроме буржуазии, и односторонне встает на защиту прерогатив парламентской магистратуры. В этом сказывается его отрицательное отношение к аристократическим тенденциям Монтескьё и полная солидарность с парламентариями, среди которых система „Духа Законов“ не пользовалась популярностью.

¹⁾ Полное заглавие главной политической брошюры Барнава: *Esprit des édits enregistrés militairement à Grenoble le 20 mai 1788*. Она целиком вошла в собрание сочинений Барнава, t. IV, 383.

²⁾ М. Blanchard, op cit, p. 229.

¹⁾ *Esprit des édits* Oeuvres, IV, 390.

²⁾ *Esprit des édits*. Oeuvres, VI, 383. Курсив Барнава.

³⁾ *Montesquieu*. L'Esprit des Loix, Livre II, ch. IV; Livre V, ch. IX; Livre VIII, ch. VI.

Возражения Барнава против вводимых эдиктами провинциальных штатов заключаются между прочим в том, что они, не имея *ни конституционного существования* (existence constitutionnelle), *ни функции законной власти* (ni exercice de pouvoir légal)—очень скоро подпадут под деспотический произвол какого-нибудь королевского комиссара, тогда как парламент в силу своих давних традиций обладает большей силой сопротивления властям, нарушающим конституцию страны ¹⁾.

Таким образом Барнав видит в парламентах „хранилище законов“ королевства, приписывает им конституционное существование и закрепляет за ними право „выражать волю нации“, т. е. вполне принимает три основные начала парламентской публично-правной догмы; поэтому интересно узнать, как же относится Барнав к идее созыва генеральных штатов, ставшей популярной еще с первого собрания нотаблей. Барнав видит в генеральных штатах единственный путь спасения государства от дефицита и гарантию справедливого распределения налогов: „по моему мнению, именно генеральным штатам принадлежит право октроировать налоги; но, по моему же мнению право деятельного сопротивления в их отсутствие принадлежит только парламентам“ ²⁾.

Необходимо отметить, что самым одиозным из королевских декретов представляется Барнаву тот, которым уничтожалась политическая власть парламента и переносилась на новый судебный орган, так называемую „cour plénière“; кроме того декрет ограничивал судебную компетенцию парламента путем создания новых судов в бальяжах, наделенных сравнительно высокой судебной правомочностью (решение гражданских исков до 20000 франков); наконец, этим же декретом уничтожались чрезвычайные суды и гарантировалась большая справедливость при вынесении уголовных вердиктов ³⁾. Все эти судебные реформы, частично осуществленные революцией, встретили решительного врага в парламентской магистратуре, своеобразно представлявшей

свое место в системе неписанной конституции старой французской монархии.

Вполне в унисон с магистратурой особенно вопиющее нарушение „конституции“ страны Барнав видит в учреждении *вместо парламента* для регистрации законов *cour plénière*. По этому поводу он обращается к историческим примерам и рисует происхождение парламента: „в период первоначальной конституции, процветавшей при Карле Великом, существовали двоякого рода собрания (assemblées): собрания всей нации, происходившие раз в год, и собрания представителей знати, которые в сущности представляли собою просто административный совет (conseil d'administration). После установления феодализма, до первых созывов генеральных штатов существовало только одно собрание, состоявшее из непосредственных держателей короны (feudataires immédiats du trône); его обычно называли *парламентом*. Парижский парламент и представляет собою непосредственного и *физического* преемника [этих феодальных собраний]: пары в нем представляют держателей [короны], а магистраты—судебных чиновников, которые к ним были прикомандированы. Провинции, последовательно присоединенные [к королевству], получили или сумели сохранить объединенные корпорации магистратов“ ¹⁾. Провинциальные штаты, по мнению Барнава, должны играть второстепенную, чисто административно-совещательную роль, напротив, „парламенты суть хранилища национальных законов и высшие органы юрисдикции. Призванные нацией для рассмотрения (pour examiner) законов, на которые они должны давать свое согласие, они блюдают за их исполнением и защищают права народа в отсутствие генеральных штатов; будучи существенными частями (parties élémentaires) конституции и состоя из несменяемых членов, они могут быть уничтожены или изменены только той самой властью, которая образует и изменяет правительства“ ²⁾.

В своей попытке исторически обосновать права парламента в конституции страны Барнав, как мы видим, выводит парламенты из феодальных съездов непосредственных

¹⁾ *Esprit des édits*, Oeuvres, IV, 388—389.

²⁾ *Esprit des édits*, Oeuvres, IV, 390.

³⁾ Oeuvres, I, XXIV—XXV.

¹⁾ *Esprit des édits...* Oeuvres IV, 403—404

²⁾ Oeuvres IV, 407.

держателей короны, к которым потом примкнули юристы. Монтескьё на этот счет держался других воззрений; при-
мыкая к аристократической концепции Буленвилье и осмеи-
вая аббата Дюбо, его антагониста, автор „Духа Законов“
осторожно указывает на узурпацию парламентом националь-
ных прав в момент усиления королевской власти в борьбе
с феодализмом ¹⁾. Парламент у Монтескьё вытесняет собою
древние съезды дворян, а парламент у Барнава продолжает
традицию дворянских собраний в несколько измененной
форме ²⁾. Итак, Барнав держится других взглядов на про-
исхождение парламентов, чем Монтескьё.

Нетрудно теперь указать и на источник этих взглядов
Барнава. Адвокат Гренобльского парламента Ашар де Жер-
ман (Achard de Germane), принимавший близкое участие
в агитации, в своей брошюре „Беспристрастное рассмотре-
ние размышлений патриота“, написанной в защиту парла-
мента, осторожно говорит: „поскольку было бы опасно по-
мочь магистратуре, если бы она собиралась узурпировать
права аристократии..., постольку нужно остерегаться осла-
бить эту препону для самовластия, особенно, когда имеют
дело с правительством, которое не предоставляет другого
оплота против деспотизма“ ³⁾.

Барнав в сущности только развивает и повторяет этот
тезис своего собрата по оружию и с консервативной осто-
рожностью пользуется давним оружием парламентариев про-
тив королевского самовластия—историческим обоснованием
публичных прав высшего судебного органа в государстве.
Со времени знаменитой „революции Мопу“, пытавшейся
нанести окончательный удар по парламентам, эти призывы
к историческим примерам сделались особенно популярны
среди оппозиционного судейского сословия, выразившего
свои взгляды на природу французской монархии в знаме-
нитых „Максимах французского публичного права“ ⁴⁾.

¹⁾ *Esprit des Lois*, livre XXX, ch. XIV, XXIV, XXV.

²⁾ Ibidem, livre XVIII, ch. XXX; livre XXVIII, ch. XXVIII, XLII и XLIII.

³⁾ Цитируется по *M. Blanchard*, op. cit. p. 238.

⁴⁾ Этот трактат по государственному праву старой французской монархии—
Maximes du droit public français 1771—подробно разобран у *Ф. В. Тара-*
новского, «Догматика положительного государственного права во Франции
при старом порядке», Юрьев, 1911, откуда мы и заимствуем цитаты.

Барнав хорошо знал этот компилятивный труд, рекомендуя
его как лучшее пособие при изучении французского
публичного права ¹⁾. Отсюда он и черпал весь теоретиче-
ский аппарат своего „Духа Эдиктов“. Не говоря уже о том,
что Барнав всецело примыкал к основным положениям
публично-правной парламентской догматики, вспомним его
слова, что парламенты являются „хранилищем“ националь-
ных законов, что они представляют элементы конституции
страны, что они имеют право „рассматривать“ законы и за-
щищать нацию от деспотизма—но даже в частных вопросах,
как, например, во взгляде на роль генеральных штатов,
Барнав в своей брошюре только перелагает соответствующие
взгляды „Максим“.

Последние, считая, что генеральные штаты являются
такой же составной частью французской конституции, как
парламенты, указывают, что правомерность взимания нало-
гов зависит только от согласия штатов. Случаи взимания
налогов помимо согласия штатов представляются явным
насилием ²⁾.

Ничего другого не говорит и Барнав. Указав, что ни-
какие налоги не в состоянии покрыть государственного
долга, Барнав указывает на популярное тогда требование
созвать генеральные штаты и говорит, что, по его мнению,
только одни государственные штаты имеют право согла-
шаться на налоги ³⁾.

Еще меньше оригинален Барнав в своем эскизе прои-
схождения парламентских прав. Отходя в данном случае от
Монтескьё, исторические взгляды которого вообще не поль-
зовались одобрением магистратуры, Барнав является по-
слушным сторонником „Максим“, развивающих историче-
ское обоснование прав парламента в таком порядке: сначала
обсуждение законов в общенародных собраниях и „пред-
ставления“ королю со стороны „верных“; затем феодализа-
ция, прекращение народных собраний и новая форма зако-
нодательства—регистрация в парижском парламенте ⁴⁾.

¹⁾ *Oeuvres* IV, 261.

²⁾ *Ф. В. Тарановский*, op. cit. стр. 233—234, 253—254.

³⁾ См. выше, прим. на стр. 27, а также IV, 393.

⁴⁾ *Ф. В. Тарановский*, op. cit. стр. 250—251, там же самые тексты,
к которым и отсылаю интересующегося читателя.

Отметим и еще одну черту сходства—учение о пассивном сопротивлении парламента незакономерным действиям королевской власти, как мы видели, усваивается Барнавом и только подогревается оппозиционным пафосом ¹⁾.

Брошюра оканчивается обращениями в приподнятом тоне, с восклицаниями и риторическими вопросами к различным классам нации, и прежде всего к духовенству, в котором автор видит „интегральную часть французской конституции“, затем к „доблестным фамилиям, предки которых заложили основы монархии“, которым Барнав говорит: „не под управлением капризного деспотизма вы сможете сохранить свои привилегии“, и, наконец, обращение „к собственникам должностей, собственникам земель, коммерсантам и капиталистам“—„ведь нет ни одного из вас, кто не был бы под угрозой разрушительного управления“. За призывом к единению против насилия, за призывом примкнуть „к партии магистратуры“ раздается лирический призыв к королю, в котором из-за риторических ходульностей слышатся нотки искреннего чувства убежденного монархиста, каким в сущности и оставался Барнав даже во время революции. „А ты, принятый со слезами Францией; ты, бывший с давних пор ее надеждой; ты, обещавший ей возвращение времен доброго короля Генриха... Раскрой глаза твои, добрый и чувствительный король; видишь глубокую пропасть, куда недостойные слуги ниспровергли твое государство... Пора, пора призвать верный народ твой обсудить с тобою; он один в состоянии просветить тебя и указать средства, которыми нужно исцелить зло, угнетающее его; он один даст тебе доказательства любви, которые вызовут в тебе слезы и наполнят сладостью твое отцовское сердце“ ²⁾.

Итак, вот каким оказывается Барнав на пороге Генеральных Штатов 1789 г., куда его послали соотечественники; убежденным сторонником либеральных афоризмов Монтескье, но осторожным консерватором в духе парламентской доктрины; защитником угнетенной буржуазии, но, вместе с тем, политиком, принимающим в расчет сословный уклад старой

монархии; учеником философов, умеющим воодушевляться правом, и в то же время практиком, знающим силу фактов.

Исторический поток, подхвативший Барнава в 1789 году, во многом изменил строй первоначальных общественно-философских его идей, но как ни велика была шлифующая сила великих событий, в водовороте которых оказался Барнав, все же в нем навсегда сохранилось кое-что из того, что напоминает нам Барнава 1788 г., увлекающегося одряхлевшими парламентскими теориями и пишущего в их защиту свой „Дух Эдиктов“.

¹⁾ Oeuvres IV, 394.

²⁾ *Esprit des édits*.. Oeuvres IV, 409—413.

ГЛАВА II.

Барнав и революция.

С какими мыслями и чувствами Барнав переступал порог зала *Menus plaisirs* в Версале, рассказывает он сам: „Я не был экзальтирован через меру. Мои политические принципы, за некоторыми нюансами, были такими же, какими они являются теперь, какими они никогда не переставали быть, одушевленными свободой. Последней я хотел придать устойчивый характер... мне хотелось, чтобы сделали немного, но как можно лучше. Я мыслил и полагал, что свобода во Франции может существовать только при монархическом правительстве, и право санкции казалось мне характерным признаком монархии. Я был достаточно напитан политическими идеями, чтобы знать, что гибель свободы заключается всегда в крайностях; от природы я обладал достаточно сильной душой, чтобы видеть истинное мужество в чувстве меры; что детская возбужденность является не чем иным, как признаком слабости; к тому же я питал отвращение к фальшивости ¹⁾).

Без преувеличения можно сказать, что ни одно место из мемуаров Барнава не возбуждало больше сомнений в своей искренности, чем только-что процитированное. Прямо или косвенно почти все биографы Барнава видели в этих строчках не что иное, как или запоздалый порыв раскаяния, или напрасное стремление убедить в неизменности своих политических принципов, а то и просто человеческое желание обелить себя после сделанных ошибок.

После того, что мы знаем о политических взглядах Барнава накануне созыва Генеральных Штатов, я не думаю,

чтобы можно было усомниться в искренности его слов. Идея свободы, как естественное расположение воли подчиняться законам страны, ее исторически обоснованному праву, как нельзя лучше подходила к тогдашней политической идеологии Барнава, в которой принципы „Духа Законов“ гармонировали со всем тем, что было истинно либерального в публично-правной теории парламентариев. Дальнейшее развитие политических идей Барнава—его постепенный отход и от стилизованной схемы равновесия властей Монтескье, и от архаической публичной догмы „Максим государственного права“—совершается в сторону усвоения реальных исторических основ современной Барнаву английской конституции с внесением необходимых поправок из богатого революционного опыта во Франции.

Барнав не застыл в своих политических теориях, подобно своему соотечественнику Мунье, но развивал их под влиянием бурных толчков революции и наблюдений над историческим прошлым народов. Революция и история, факт настоящего и факт прошлого, обусловили закономерность духовного развития Барнава и привели его к тому внутренне целостному воззрению на жизнь, которое помогло ему разобраться в настоящем, а в прошлом формулировать четкий закон неизбежной текучести общественных форм.

Обычное представление об эволюции политико-социальных идей Барнава не склонно считаться с психологической закономерностью, обусловленной, в свою очередь, всей обстановкой жизни. Дело обычно представляется таким образом: до 20 июня 1791 г., т.-е. до Вареннского кризиса, Барнав—ярый революционер, демагог, демократ, чуть что не республиканец, после 20 июня 1791 г. в Барнаве происходит душевный перелом, внутреннее *coup d'état*, революция во время революции, и Барнав разом становится из революционера—консерватором, из демагога—конспиратором, из демократа—роялистом, из республиканца—нежным обожателем прелестей Марии-Антуанетты.

В это верит даже такой серьезный историк революции, как Жорес, привлекающий сюда вдобавок и „романтические чары при Вареннской авантюре“ ¹⁾. Но в этом небы-

¹⁾ Introduction à la Révolution Française. Oeuvres, I, 98—99.

¹⁾ Jean Jaurès. La Constituante, p. 373—374.

валом душевном перевороте еще усомнился тонкий наблюдатель Сент-Бёв, и бросил тень сомнения пронизательный прагматик Леон де Ломени ¹⁾. К сожалению, ни тот, ни другой не постарались развить свои намеки и согласовать взгляды Барнава в начале и в конце работ Конституанты.

* * *

Несмотря на свою молодость, Барнав как-то сразу обратил на себя внимание среди разношерстной толпы депутатов tiers-état. Ежедневный листок Барера „Рассвет“ („Le point du jour“) писал о нем в отчете о заседании 12 мая 1789 г.: „нельзя было лучше говорить, с большей разумностью и энергией, чем говорил по этому поводу (в пользу соединения сословий) Барнав, молодой депутат из До-фина“ ²⁾.

Вспоминая об этих днях энтузиазма и ожиданий, Барнав писал в своих мемуарах: „в эти первые моменты мое личное положение не походило на положение других депутатов: будучи слишком молодым для того, чтобы возметь желание руководить столь величественным собранием, я находился в положении, которое предохраняло меня от тех, кто собирался сделаться, вождами; никто не видел во мне соперника, и каждый готов был скорее встретить во мне ученика или полезного сторонника“ ³⁾. И действительно, на первых порах Барнав примыкает к своему старшему „другу“ Мунье и следует его политической программе. Так, вместе с Мунье он стоял за общую проверку депутатских полномочий; вместе с ним он редактировал первый адрес королю.

Когда депутаты Генеральных Штатов неожиданно встали перед вопросом, как конституировать правомочное собрание в отсутствии двух первых сословий, мнения депутатов общин раскололись на этом щекотливом пункте. Радикальную группу представителей повел за собой аббат Сьейес, предложив сделать революционный шаг и назваться „собранием

известных и проверенных представителей французской нации“. Умеренных увлек за собой Мирабо, предложивший энергичную, но несколько неопределенную формулу „представителей французского народа“ ¹⁾. Мунье не согласился ни со Сьейесом, ни с Мирабо: он посоветовал осторожно, не предрешая будущего и опираясь на привилегированные сословия, назваться „законным собранием большинства нации, действующей при отсутствии ее меньшей части“. На защиту этой неуклюже-консервативной формулы с жаром подъялся молодой Барнав, развивая точку зрения Мунье ²⁾.

Это не помешало, как известно, пройти несколько видоизмененной формуле Сьейеса, а Генеральным Штатам стать Национальным Собранием Франции (17 июня 1789 г.).

Еще во время июльских и августовских прений вокруг проектов декларации прав Барнав идет на поводу у Мунье. Последний играет настолько внушительную роль, что при окончательных прениях по декларации заставляет принять первые три самые принципиальные статьи в своей редакции. Барнав с энтузиазмом вотирует предложения своего друга, действительно с удивительной ясностью формулировавшего незыблемые начала „естественных и неотчуждаемых прав человека“.

Но как только Конституанта приступает к прениям по конституции, Барнав начинает отходить от своего руководителя и занимает самостоятельную позицию. Впервые это, оказалось во время прений по вопросу об организации законодательного органа. Мунье, докладчик конституционного комитета, верный идеям Монтескье и Делольма, предложил разделить законодательный корпус на две палаты ³⁾. Ученая компиляция Мунье, обильно насыщенная ссылками на „Дух Законов“, увлекла за собой незначительную часть Собрания, и судьба „бикамеризма“ во Франции, как тогда называли систему двух палат, была этим надолго предрешена. Барнав впервые во время этих бурных прений ока-

¹⁾ *Sainte-Beuve*. Causeries de Lundi, t. II, p. 36—37. *Léon de Loménie*. Esquisses historiques et littéraires, p. 96—97.

²⁾ *Oeuvres de Barnave*, I, XL.

³⁾ *Introduction à la Révolution Française*, I, 101.

¹⁾ *Buchez et Roux*. Histoire parlementaire de la Révolution Française t. I, 443.

²⁾ *Buchez et Roux*, op. cit. I, 455—456.

³⁾ Заседание 4 сентября 1789 г. См. *Archives Parlementaires* par Laurent et Mavidal, t. VIII.

зался в лагере противников Мунье, красноречиво доказывая всю утопичность для Франции бикамеризма.

Второе, еще более сильное поражение Мунье понес во время обсуждения вопроса о законодательной санкции: сторонник абсолютного veto, и на этот раз оставшись в меньшинстве, он стал думать не о продолжении борьбы, а о малодушном оставлении поля сражения. И на этот раз Барнав опять был с его врагами, отстаивая суспенсивное veto (отсрочивающую санкцию) короля ¹⁾ вместе с великим Мирабо, Трельяром, Туре, Малуэ, Монморанси.

Наконец, октябрьские дни 1789 г., выступление парижского пролетариата на почве экономического кризиса и знаменитый поход голодных женщин в Версаль—окончательно вырывают пропасть между бывшими соратниками по защите прав гренобльского парламента. Мунье вскоре после этого сложил депутатские полномочия и эмигрировал, а Барнав хладнокровно учел силу народного движения и с жаром отдался делу революции. „Мунье и его сторонники“, говорит Барнав, „повидимому не заметили, что тут дело шло о революции; они хотели строить из материала, который только что показал свою гнилость; они настаивали на системе, которая должна была примирить власть того, что было фактически всем, с силой того, что уже не существовало“ ²⁾.

Чтобы понять этот сдвиг влево, от охранительного консерватизма в сторону революционного радикализма, нам нужно ближе взглянуть в политические идеи Барнава, как они стали определяться к 1790 году.

Революция представляется Барнаву прежде всего грандиозным социальным переворотом, устранением дворянства и духовенства, как политически привилегированных классов, представителями и собственниками движимого капитала (*richesse mobilière*). И тогда уже политическим формам, как таковым, он склонен придавать меньшее значение, лишь бы они отвечали интересам нового социального фундамента. Устранение полуфеодалных остатков дворянства при усло-

вии сохранения исторически сложившейся монархической власти—вот основное ядро этой политической доктрины.

В таком виде она и была формулирована Сьейесом со смелостью, граничившей с дерзостью, в знаменитом памфлете „Что такое третье сословие?“ Разве не Сьейес и его многочисленные ученики доказали полную политическую непригодность старого общественного строя, возведя в ранг единственно правомочной *нации* так называемое третье сословие? „Кто осмелится сказать, что третье сословие не обладает всем тем, что необходимо для образования целой *нации*“?—спрашивает Сьейес ¹⁾. За третьим сословием у Сьейеса скрываются те же самые собственники-буржуа, о которых говорит Барнав. Можно сказать, что и Сьейес, а  ним и Барнав только формулируют общее положение, стоявшее на знамени радикальной французской буржуазии. Лозунги Сьейеса суть лозунги „людей 1789 года“. Поэтому, пока Барнав говорит о необходимости поднять униженный класс за счет землевладельцев-феодалов, он в сущности не выходит за пределы этих столь популярных в начале революции идей.

Но оригинальность его точки зрения начинается там, где дело касается обоснования этих прав „третьего сословия“. В то время, как Сьейес и его школа исходят из нормативной идеи естественного права, существующего в своей абстрактной чистоте раньше и прежде всякого общества, и отсюда выводят самое понятие *нации* (т.е. буржуазии, по мнению Сьейеса), как суверенного государственного организма ²⁾, Барнав прибегает к *историческому обоснованию* притязаний „нации“ на первую роль в государстве. Он неоднократно подчеркивает, что его доктрина не имеет ничего общего с подобной метафизикой, так как является простым выводом из исторически сложившегося соотношения социальных сил. Первые шаги по пути обоснования политики

¹⁾ *Emm. I. Sieyès. Qu'est ce que le tiers-état? Ch. I. Le tiers-état est une nation complète.*

²⁾ *La nation se forme par le seul droit naturel. Qu'est ce que le tiers-état? Ed. Edme Champion, p. 67.* Другими словами, Сьейес договаривается до суверенитета права, которое само определяет положительное законодательство, но никогда положительное право не имеет у Сьейеса характера самодовлеющей ценности.

¹⁾ Заседания 10 и 11 сентября 1789 г. *Moniteur universel ou Gazette Nationale*, réimpression, t I, 413.

²⁾ *Oeuvres*, I, 102—103.

на истории Барнав делал еще тогда, когда выступал на защиту прав парламентской магистратуры. Теперь тот же метод применяется им к притязаниям tiers-état. Изменился объект защиты, но приемы остались прежними.

Надо заметить, что и Сьейес, и Рабо-Сент-Этьен, и Дантрег,¹⁾ любят иногда прибегать к историческим примерам, но это, так сказать, больше для иллюстрации, чем в качестве серьезных аргументов. Ни одному из них и в голову бы не пришло попытаться обосновать необходимость революции на прошлой истории Франции. Не нужно также забывать, что Сьейес считал историю чем-то вроде вспомогательной науки для политики и права, которая должна выполнять задания этих главных дисциплин²⁾. И таких мнений держалось в XVIII веке большинство.

Барнав потому стоит на страже королевской власти, что видит в ней исторический продукт по преимуществу³⁾. Людям, увлекавшимся примером английской революции 1688 года и по примеру Сьейеса привлекавшим историю для подкрепления своих политических комбинаций, Барнав противопоставляет сомнение в абсолютной годности политических рецептов. Скорее, по его мнению, все обуславливается людьми, а еще больше обстоятельствами или ходом событий (*La marche des évènements*)⁴⁾.

Задачу той политической группы, к которой он примыкает в собрании, он определяет таким образом: „сохранить трон и государя“, а остальное все „обновить“, поставив при этом под защиту верховной власти⁵⁾. Или, выражаясь определеннее,—переменить социальный фундамент, на котором покоится королевская власть, оставив последнюю неприкосновенной. Если Мабли смело набрасывал план „королевской демократии“, то Барнав с меньшей логикой и вполне сознательно развивает схему буржуазной монархии.

¹⁾ *Rabaut-Saint-Etienne. Considérations sur l'intérêt du tiers. 1788. Comte D'Antraigues. Mémoires sur les Etats généraux. Paris 1788.*

²⁾ *Sieyes. L'essai sur les privilèges, passim, в том же издании Эдма Шампиона.*

³⁾ *Oeuvres, I, 105*

⁴⁾ *Oeuvres, I, 105.*

⁵⁾ *Oeuvres, I, 103.*

С этой точки зрения понятно, почему Барнав не пошел за „бикамеристами“, т.-е. сторонниками пересадения во Францию английской или американской двухпалатной системы. Как верный ученик Монтескьё, он не против бикамеризма вообще, теоретически. Но, исходя из фактов, он отбрасывает его, и прежде всего из боязни, что вторая палата во Франции оживит политические стремления только что ниспровергнутой аристократии: „палата пэров может, конечно, силою событий, войти в конституцию страны; но абсурдно думать, что ее можно создать; с момента революции 14 июля все во Франции стало эгалитарным, и даже до этого звание пэра было не более, как почетным титулом; дворянство видело в себе единое сословие и скорее согласилось бы пожертвовать своими привилегиями в пользу народа, чем видеть их сосредоточенными среди небольшого круга лиц, избранных из его среды“¹⁾. И для подкрепления этих строк, достойных Токвиля, Барнав предпринимает рассмотрение происхождения английского парламента с проницательностью, которая могла бы составить честь современному историку государственного права²⁾. С точки зрения того же проникновения в социальную структуру общества и учета сталкивающихся в нем групп, Барнав возражает и против введения во Францию американских порядков. Он указывает, что в Америке эти порядки держатся на всесословности, тогда как во Франции приходится считаться с исторически сложившимися сословиями³⁾.

Отметим себе эту манеру Барнава подходить к решению политических вопросов. Он исходит прежде всего из фактов во всей их непреложной конкретности и не повторяемой индивидуальности. Ему кажется нелепым и абсурдным пересадение во Францию английской двухпалатной си-

¹⁾ *Oeuvres, I, 112.*

²⁾ *Oeuvres, I, 111—112.* Английская конституция, по мнению Барнава, получила свои характерные черты уже тогда, когда образовалась пропасть между пэрами и прочим мелким дворянством; последнее, призванное в палату общин, отождествило свои интересы с ними и перестало представлять особое сословие в государстве; весь аристократический принцип конституции сосредоточился в руках немногих семейств, получив характер не столько сословных различий среди нации, сколько наследственной магистратуры

³⁾ *Oeuvres, I, 112.*

стемы, которая является своеобразным продуктом развития общественных условий на британской почве. Франция не может не считаться с наличием знати, всегда жившей в атмосфере социального господства и политического влияния; устранить этот результат всей исторической жизни нельзя, а потому на нем нужно строить новую конституцию страны.

С этой точки зрения двухпалатность только усилит позицию контр-революции и обречет на неудачу все дело обновления страны. Важность этих выводов против немедленного учреждения во Франции верхней палаты подчеркивается тем обстоятельством, что Барнав принципиально соглашался со сторонниками бикамеризма и даже иногда мечтал, что Франция, оправившись от революционных потрясений, установит у себя верхнюю палату, где будет заседать не наследственная знать, как в Англии, а пожизненное пэрство ¹⁾. Для настоящего же момента Барнав проповедывал последовательную борьбу с теми привилегиями знати, которые создавали из нее государство в государстве. Дворянство казалось ему исторически обреченным классом, и потому он сознательно стремился к его уничтожению.

Исходя из тех же наблюдений над фактами, запутанной канвой эмпирических данных и условий, Барнав остался чужд тем увлечениям космополитическими теориями и проектами универсального братства, которые придали первым годам революции столько энтузиазма и идеалистического порыва. Он хорошо понимает, что на знамени „современной философской системы“ начертан „универсализм“ (l'universalité). Он ясно постигает увлекательность таких построений, как „всеобщий мир, универсальная республика, обмен взаимными услугами“ (paix universelle, république universelle, secours, échanges réciproques), но трезво замечает, что „на практике невозможно придерживаться по всей строгости этих принципов“. И далее он вскрывает утопичность основной предпосылки всех подобного рода построений — необыкновенно высокую оценку способностей человека, нежелание считаться с человеком таким, каков он есть.

¹⁾ Oeuvres de Barnave, II, 38 — 39.

„Нельзя истребить страстей из человеческих сердец, агрессивное честолюбие одних всегда заставит других занять оборонительную позу. Сила дает надежду к приобретению и господству, тогда как слабость чувствует свою зависимость и стремится освободиться от нее ¹⁾. И здесь, как и везде, дело вовсе не в том, чтобы, исходя из абстракций, из общих „максим“, одни учреждения заменить другими, а в человеческой природе, как она нам дана.

Становясь на эту релятивистскую точку зрения, Барнав последовательно защищает „теорию публичного права“, т. е. действующее международное право Европы, и в частности систему европейского равновесия, подвергавшуюся наиболее ожесточенным нападкам со стороны космополитов всех оттенков. В последней он усматривает самое реальное значение, вполне оправдывающее ее существование: она все еще поддерживает малые государства и препятствует экспансии сильных. Так что, если последовать за новейшими политиками и отбросить эту идею равновесия, останется пустое место, ибо тот, кто учитывает „положительную природу вещей“ (la nature positive des choses), не может рассчитывать на гарантию безопасности, основанную на разуме и добродетели ²⁾.

Гармонический идеал братства народов, скрепленных узами экономической солидарности — этот своеобразный коммерческий интернационализм, выведенный из теорий экономистов, особенно раздражал Барнава своей оторванностью от действительной жизни. Он подвергает резкой критике теорию, полагающую, что торговые нации сближаются между собой и стремятся к установлению братства. Барнав называет эти построения „прекрасными и великодушными теориями“, отдавая дань скептического уважения их авторам, но замечает, что „история отвергает эти максимы“, так как больше всего между собой соперничают и борются как раз „коммерческие народы“ ³⁾.

Для Барнава ясна природа соперничества между Англией и Францией — она имеет под собой весьма реальные экономические основания — борьбу за свободу морей и ко-

¹⁾ Oeuvres de Barnave, II, 145.

²⁾ Oeuvres... II, 148 — 149.

³⁾ Oeuvres . I, 185.

лонии. Он предостерегающе указывает энтузиастам и новаторам, что Англия, „пользуясь французской анархией, стремится экономически обескровить Францию, обогатиться за счет потерь в нашей торговле и отлива наших капиталов“ — как буквально заявляет он ¹⁾).

Тут Барнав рядом с учетом действующих исторических сил обнаруживает тонкость и глубину чисто экономического анализа существующих отношений и на нем строит откровенные точки для своих политических рассуждений.

Таким „позитивным“ политиком он был и на трибуне Конституанты. Напомним его выступления по поводу англо-испанского конфликта, давшего случай развернуться широким прениям по вопросам международной политики (май 1790 г.). В ответ на речи Вольнея, Петиона, Гупилье де Префельна, Жалле, герцога Левиса и других, проникнутых в большей или меньшей степени космополитическим пафосом, Барнав, подобно Мирабо, остается на строго деловой точке зрения при решении щекотливого вопроса — кому принадлежит право объявлять войну и заключать мир, королю или национальному представительству ²⁾. В то время, как пресса ведет энергичную кампанию за пересмотр всех существующих трактатов и международных обязательств и проповедует революционное братство народов, как новую форму организации человечества, Барнав провозглашает самым „национальным“ знаменитый „семейный договор“ (*pacte de famille*) между французскими и испанскими Бурбонами ³⁾.

Старые биографы и историки считали Барнава одним из учредителей Якобинского клуба. Но еще Беранже правильно усомнился в этом, опираясь на документы Барнава ⁴⁾. Теперь этот взгляд можно считать окончательно похороненным опубликованием документов, относящихся к якобинцам ⁵⁾. Но

¹⁾ *Oeuvres...* I, 186.

²⁾ *Moniteur*. t. IV, 372, 374, 384, 386, 422 — 428.

³⁾ *Annales patriotiques*, № 226. Orateur du peuple — Fréron'a, начавший выходить 23 мая. *Buchez et Roux*. H. P. t. VI, 36 — 37, 132 — 133. *Barnave Oeuvres*, t II, 126.

⁴⁾ *Oeuvres*, Notice historique sur Barnave, I, CVIII.

⁵⁾ *La société des Jacobins*. Recueil de documents pour l'histoire du Club des Jacobins de Paris par F.-A. Aulard. 6 volumes. Ниже я всюду ссылаюсь на это ценное собрание документов, обозначая их условно. *S. J.*

Барнав очень близко стоял к делам клуба (состоял членом комитета по сношениям клуба со своими многочисленными филиальными отделениями) и в значительной степени был обязан своей популярностью революционным выступлениям с трибуны клуба, где подготавливались и предварительно обсуждались все главные мероприятия и вопросы, стоявшие на очереди дня Учредительного Собрания. 3 июня 1790 г. Барнав был даже выбран председателем „Общества Друзей Конституции“ ¹⁾. Немец Галем, попавший в Париж осенью 1790 г., отмечает в своих письмах политические успехи „великого демократа Барнава“ (*der grosse Demokrat Barnave*) и тот ужас, который этот „великий демократ“ внушал аристократам ²⁾. Лето и осень 1790 г., когда Галем мог наблюдать и слышать Барнава, было временем наибольшего успеха и популярности для последнего. Барнав носился в волнах славы, чувствуя себя не простым гражданином, а одним из кормчих, направлявших судьбу новой Франции к новым конституционным берегам. К этому времени относятся наиболее крупные выступления Барнава по самым разнообразным вопросам — финансам, судебной организации государства, о гражданском устройстве духовенства, по внешней и колониальной политике.

От этого же времени дошло до нас одно письмо Барнава к своим доверителям, посланное по адресу членов Гренобльского Муниципалитета 25 июня 1790 г. Письмо это замечательно в том отношении, что Барнав, отвечая своим доверителям, интересовавшимся, повидимому, узнать, что происходит за кулисами Национального Собрания в различных „Обществах“, характеризует последние с точки зрения их социального состава и отсюда выводит их политические устремления. Письмо это, неиспользованное Оларом при издании документов клуба, очень характерно для манеры политического мышления Барнава.

Так, „Общество 1789 г.“, кроме небольшого числа депутатов Национального Собрания, состоит, главным образом, из банкиров и очень состоятельных финансистов, сюда же

¹⁾ *S. J.* I, XXXVI, LXXVIII, LXXX.

²⁾ *G. A. v. Halem*. Blicke auf einen Theil Deutschlands, der Schweiz und Frankreichs bei einer Reise vom Jahre 1790. Hamburg 1791. 2-ter Theil, S. 77.

примыкают и некоторые литераторы (*gens de lettres*) с очень почтенной репутацией; но особенно много здесь придворных и состоятельных людей, которые, покинув позицию аристократов, в настоящее время совершенно скомпрометированную, примыкают к этому обществу, чтобы создать себе положение при новом строе, не рискуя в то же время потерять преимуществ и выгод, связанных со двором или обществом, что произошло бы, если бы они примкнули к якобинцам ¹⁾. Этому клубу, объединяющему в своих рядах, так сказать, крупную финансовую и земельную буржуазию, Барнав противопоставляет свое общество — клуб Якобинцев: „общество якобинцев представляет совершенно отличную физиономию“, — говорит Барнав; депутаты собрания составляют главный его контингент; рядом с ними сливки интеллигенции, „люди, знаменитые своими знаниями и талантами“, и затем уже идет довольно серая масса патриотов, „от которых“, по словам Барнава, „ничего не требуется, кроме устойчивого поведения во время революции и достаточно просвещенного рвения, чтобы разбираться и принимать участие в политических дебатах“, т. е. и это преимущественно рядовая интеллигенция и мелкая буржуазия ²⁾.

С классовым составом своего общества Барнав связывает и его роль в политической жизни, подчеркивая, что „слава его в том, чтобы быть охранителем конституции“, и что это единственный род влияния, которое общество собирается оказывать.

Можно сказать без преувеличения, что политическая роль Барнава в 1790 — 1791 годах тесно переплетается с ролью клуба, окрепшего и выработавшего свою тактику как-раз в эти годы конституционного режима. Вместе с тем необходимо отметить, что как-раз в это время консервативный либерализм Барнава приобретает весьма радикальный оттенок. Его незаметно увлекает за собой кипящая революционными страстями атмосфера Общества Друзей Конституции, где Барнав играет одну из первых ролей. Страх уступить свою популярность другим, борьба за этот измен-

чивый призрак, жажда успеха, превратившаяся в привычку, держала в постоянном душевном напряжении Барнава и толкала его нередко к таким заявлениям, которые еще накануне внушали ему осторожные опасения. Впоследствии ему было мучительно тяжело останавливаться на этих моментах своей карьеры, и он несколько не лукавил, когда писал в своих мемуарах: „это единственная эпоха в моей политической жизни, когда я не был вполне самим собой. От одной ошибки я бросался к другой. Я воспротивился отъезду теток короля, я выступил с ужасным доносом на монархический клуб, я принял участие, правда, второстепенное, в этом несчастном деле о неприсяжных священниках“ ¹⁾. Сознание раскаяния в сделанных ошибках переживалось Барнавом тем сильнее, что все эти отклонения в сторону радикализма имели под собой не принципиальные основания, не разрыв со старым политическим мировоззрением, а диктовались преходящим увлечением, возбужденным тщеславием и честолюбивой потребностью быть во всем первым.

Что это было действительно так, что радикализм Барнава имел своим основанием скорее психологические импульсы, а не являлся отражением происшедшей в нем перемены в политических взглядах, как они определились в первый год революции, доказывается тем, что острием своим он был направлен не против монархических учреждений, как таковых, а в сторону обновления социального строя, переставшего соответствовать новым общественным интересам. Когда Эдмонд Берк запальчиво нападал на французскую революцию, одним из самых сильных его аргументов был упрек, что французы начисто пренебрегли своим прошлым и начали строить так, как-будто бы не существовало старой исторически сложившейся конституции королевства. Между тем Берк старался показать им, что от этого „уважаемого и благородного здания“ (конституции) уцелели кое-где стены, и сохранился весь фундамент ²⁾. Последней фразой Берк прозрачно намекает на необходимость спасти остатки старинной французской знати и уделить ей соот-

¹⁾ Oeuvres de Barnave, IV, 336

²⁾ Oeuvres, IV, 337 — 338

¹⁾ Oeuvres, I, 126

²⁾ E. Burke Reflexions on the French Revolution, p 46 — 54

ветствующее влияние в государстве. На этот раз сам исторически мыслящий английский оратор оказывается менее историчным, чем французский революционер Барнав. Последний знал нападки Берка, но в корне был с ними не согласен. В своих революционных выступлениях против дворянства и духовенства якобинец Барнав исходил прежде всего из исторического опыта, доказавшего ему непригодность этих привилегированных классов в качестве материала для нового строя. Феодальная природа дворянства, державшегося на почве обладания земельной собственностью, изживалась одним тем фактом, что на смену недвижимого капитала шел капитал движимый, за которым стоял новый, как любил выражаться Барнав, „трудолюбивый класс“. Оставить при этих условиях сколько-нибудь сильное влияние за дворянством, как это рекомендовали Берк и бикамеристы, значило для него обресть на неудачу все дело демократического переворота во Франции.

Подобно этому, и в своих воззрениях на церковную реформу Барнав исходил из аналогичных соображений. Положение англиканской церкви, сумевшей привязать верующих к установленным властям, служащей государству и существующей на счет государства, — кажется ему идеальным разрешением вопроса о взаимоотношении гражданской и духовной власти. Барнав, подобно другим радикальным депутатам Учредительного Собрания, не представляет себе, чтобы можно было „начисто отделить религию от управления“ (*de séparer entièrement la religion du gouvernement*), но в попытках доказать свою точку зрения обращается опять-таки не к философским рецептам, а к преходящему историческому опыту ¹⁾.

До сих пор мы имели дело, так сказать, с социально-философскими предпосылками политических идей Барнава, поскольку они проявлялись в его государственной практике. Нам предстоит теперь показать, что самое содержание его теоретических представлений в сфере политики не испытало сколько-нибудь значительного влияния от того, что Барнав применял иногда манеру говорить самых крайних

демагогов своего времени. И показать это лучше всего (и методологически правильнее) на том материале, который отразил наиболее революционные выступления Барнава с трибуны „Общества Друзей Конституции“.

В начале марта 1791 г. Барнаву не без труда удалось провести у якобинцев свою редакцию очередного послания „общества-матери“ к своим провинциальным отделениям. Робеспьер особенно упорно противился редакции Барнава, требуя подробного обсуждения адреса, но ему не удалось даже получить слова. Барнав при поддержке своей группы сумел настоять на своем, и адрес в его формулировке был принят ¹⁾.

Но история не кончилась этим местным инцидентом. Как только мартовское послание „Общества“ стало предметом гласности, на него с ожесточенной страстностью накинудся журнал Бриссо „Французский Патриот“, уже в это время подготовлявший умы к республиканской критике конституции ²⁾.

С внешней стороны адрес Барнава почти ни в чем не отличается от других памятников политико-дидактической литературы знаменитого клуба — та же торжественная приподнятость стиля, тот же фимиам перед непогрешимым народом, наконец, то же негодование против прошлых, настоящих и возможных врагов революции. Но было, действительно, в этом послании нечто такое, что должно было поднять на ноги всех искренних республиканцев, защитников „народного суверенитета“.

В самом деле, в этом адресе Барнав, искусно драпированный в тогу якобинца, проповедывал свои неизменные конституционно-монархические убеждения и старался увлечь за собой беспокойно-подозрительное стадо „Друзей Конституции“, рассеянное по всей Франции.

„В то время, как посреди волнений, — говорил Барнав, — Национальное Собрание приближается с каждым днем к пределу, который должен положить конец всем спорам, неодолимо (*invariablyment*) установив хартию наших конститу-

¹⁾ S. J. II, 189—190

²⁾ *Patriote Français*, du 17 mars 1791. Lettre de la Société des Amis de la Constitution à toutes les Sociétés affiliées, rédigée par M. Barnave. S. J. II, 189—192.

ционных законов, влияние общей воли (volonté générale) производит вокруг него свое действие и одно за другим преодолевает препятствия, которые пытаются ему противопоставить. Непреодолимым образом общественное доверие вырастает вокруг новых установлений... Поэтому самый опыт показывает нам, каким образом победить все препятствия и закончить Революцию».

«Соединим же наши усилия для ее защиты и возьмем за руководство закон; последний, став теперь выражением воли всех и результатом всех интересов, сможет направить все наши стремления к одной цели и обеспечить нам победу, объединив всех нас против неорганизованных выступлений наших врагов».

«Когда народ конституировался (s'est constitué), уважение к законам, которые он себе дал, становится первым его долгом; когда, после завоевания свободы, народ посвящает себя установлению своих конституционных законов, религиозные узы, соединяющие его с этими первыми плодами его воли, являются лучшим признаком, по которому можно судить, нужна ли дальнейшая революция»¹⁾.

Затем, обрисовав благотворные мероприятия Национального Собрания, стоящего на страже конституции, Барнав обращается с призывом к членам «Общества» на местах: «Скажите народу, что представители его без перерыва посвящают все свое время великой задаче и что усилия их облегчаются королем, добродетели которого сообщают подлинный характер конституционной власти (à la royauté constitutionnelle), учрежденной для блага народа и для устойчивости управления (gouvernement). При этих благоприятных предзнаменованиях, когда конститу-

¹⁾ Это намеренно несколько туманное место в подлиннике звучит так: «Lorsqu'un peuple s'est constitué, le respect des lois qu'il s'est données devient le premier des devoirs; lorsqu'après avoir conquis sa liberté il est occupé de la fixer par des lois constitutionnelles, la religion qu'il attache à ces premiers résultats de sa volonté est le signe où l'on peut juger si la Révolution s'achèvera». S. J. II, 186—187. Бриссо и здесь не дает покоя своему противнику, говоря: «Что это за «религиозные узы, соединяющиеся с первыми плодами его воли?» И где тот знак, по которому можно судить, нужна ли дальнейшая революция? Что это вещественный знак?... Буало как-то сказал, и нужно непрестанно повторять это, что прежде чем говорить, научитесь думать». II, 192. Курсив везде подлинника.

ция готова получить свою окончательную форму, обеспечивающую ей крепость на столетия, всякий момент дорог; все, что замедляет ее окончание, может стать силою изменившихся обстоятельств источником неисчерпаемых сожалений. Пусть те, кто хочет завершения конституции, дадут возможность работать своим представителям, без отдыха посвящаящим ей свои силы; пусть они окружают их бдительным наблюдением; пусть они предупреждают их мирными и законными петициями; пусть они увенчают их работы тем же неукротимым мужеством, в атмосфере которого и родилась Революция; пусть они не причиняют тревог своим избранныкам»¹⁾.

Приведенные строчки из адреса Барнава и подняли бурю негодования в лагере Бриссо. Вдумаемся же в их содержание.

Надо сказать, что «главную ересь» (grande hérésie) политических взглядов Барнава Бриссо усмотрел в том месте адреса, где говорится о неизменности конституционных законов, созданных Собранием. Бриссо совершенно последовательно поставил вопрос о том, как понимает Барнав, говорящий от имени якобинцев, народный суверенитет, это основное понятие политической теории того времени. И действительно, своими словами о неизменности раз установленных законов Барнав посягал на принцип, по которому народ никогда не может отказаться от права изменять положительные законы, как бы совершенны они ни были, ибо последнее связано с признаком неотчуждаемости суверенитета.

Каково же было действительно представление Барнава о народном суверенитете? Как верный ученик Монтескьё, Барнав в этом пункте придерживался вполне учения «Духа Законов». Правда, Монтескьё под влиянием естественно-правовых доктрин своего времени как-то высказался, что «в свободном государстве каждый человек, имеющий свободную душу, должен управляться самим собою, а потому

¹⁾ Adresse de la Société des Amis de la Constitution de Paris aux Sociétés qui lui sont affiliées (Paris, Imp. nationale, s. d., in-4 de 6 pages). Подписано Biauzat — председатель; Massieu — епископ из департамента Уазы; Боникарпер, Колло д'Эрбуа, Лавинь — за секретарей. Перепечатано S. J. II, 185—189.

следовало бы, чтобы народ в его целом (le peuple en corps) осуществлял законодательную власть¹⁾; тем не менее, это не помешало ему всегда признавать, что народ совершенно не способен к законодательству и не в силах решать сложных политических вопросов, а потому он выбирает из своей среды умственно подготовленных и морально развитых людей для осуществления верховной власти; таким образом Монтескьё отрицает начало народного суверенитета и выдвигает теорию выборного представительства. В этом ему вполне следует Барнав, признавая, что выразителем суверенитета является единственно правомочный законодательный орган государства, творящий обязательное к исполнению, а потому самому неизменное в пределах отдельных частных волеизъявлений положительное право²⁾. В лице Барнава и Бриссо сталкиваются лицом к лицу политика Руссо с политикой Монтескьё, право в положительном своем понимании с правом в идеалистической интерпретации.

Бриссо в своей критике как-раз настаивает на неизменности и абсолютной обязательности не этих преходящих конституционных законов, а незыблемых естественно-правовых начал, отразившихся между прочим в „Декларации прав человека и гражданина“.

„Если бы господин Барнав изучил элементы социальной организации,—возражает Бриссо,—он увидел бы, что, во-первых, нет ничего неизменного, кроме законов, составляющих Декларацию прав, да и эти законы не может раз навсегда определить ни одно собрание; а во-вторых, конституционные законы, т. е. те, которые касаются организации властей, изменяемы по самой своей природе; так, например, в одном месте может показаться народу подходящим иметь наследственную исполнительную власть, в другом избирательную“. „Народ,—настаивает руссоист Бриссо,—когда необходимо, может изменять эти различные формы конституции, но никогда он не может это

¹⁾ Montesquieu. De l'esprit des lois, Lib XI, ch VI.

²⁾ Barnave, Oeuvres, I, 267—270. См. также В. М. Устинов. Учение о народном представительстве, т. I, 466—467.

право изменения отчуждать от себя; оно неотчуждаемо от него, ибо в этом его суверенитет“¹⁾.

Такая точка зрения, конечно, была несовместима с политическим миросозерцанием Барнава, который всегда тщательно отмежевывался от руссоистского направления в политике, представленного тогда в лице Робеспьера, Дантиона, аббата Фоше и некоторых „кордельеров“.

Право факта стояло для Барнава на первом плане, и, исходя из него, он естественно придавал значение в реальной политике не философским построениям, а точно фиксированному позитивному праву²⁾.

Эта позитивность Барнава сказывается и в других местах его адреса, и в частности там, где он стремится заботливо уберечь королевскую власть от нападков в несомнении конституции. Здесь Барнав защищает прежде всего опять факт, но факт исторический, без сохранения которого он не мыслит себе дальнейшего существования конституции.

И это место из адреса раздражает пока что еще чисто инстинктивный „республиканизм“ будущего вождя Жюинды. Бриссо прежде всего стремится устранить патриархально-монархический привкус утверждений Барнава: конечно, можно себе представить, что король обладает добродетелями, необходимыми для конституционной монархии; что общего между этими добродетелями и тем, что королевская власть является органом наследственным, неизменным и т. д.? Эта фраза сущая галиматья³⁾. Так спеша Бриссо разрушает конституционные принципы Барнава, в котором мы замечаем следы старого осмотрительного консерватизма.

Но существует еще один пункт, в котором резко расходятся позитивист Барнав и руссоист Бриссо; пункт,

¹⁾ S. J. II, 190

²⁾ См. также его речи при обсуждении вопроса о регентстве в Собрании 22, 23, 24 и 25 марта 1791 года. Oeuvres, I, 223—241. Gazette nationale, Moniteur universel, réimpression, t. VII, p. 687, 695—696, 705, 714—716. Между текстом речей в Oeuvres и текстом Moniteur'a есть некоторые расхождения. Текст Беранже более правилен, так как он заимствован из Journal logographique. Далее означая этот источник литерой М.

³⁾ S. J. II, 191.

который еще сильнее оттеняет осторожный либерализм первого и республиканский демократизм второго. Пункт этот—взгляд на народ.

Барнав, как истый либерал, всегда боялся народа, даже когда предводительствовал им. Он понимал под народом ту мелкую опекаемую массу, которая, не имея собственности, не способна подняться до здравых политических понятий. Нация для него кончается за пределами третьего сословия—сословия собственников — *propriétaires* — по имуществу. И тут Барнав не допускал, как он сам любил выражаться, „никакой метафизики“.

Этот взгляд на народ проникает и адрес Барнава, несмотря на все демократические аксессуары. Этого и не мог не почувствовать Бриссо, переживавший тогда, подобно прочим жирондистам, период мистического преклонения перед стихийным движением, будто бы, непогрешимо определяющим свой путь среди революции. Он тонко улавливает аристократическую нотку — „*tourneure aristocratique*“ — в словах Барнава, что „королевская власть учреждена для блага народа“. „Скажите лучше,—поправляет он,—созданная по согласию народа для его блага“¹⁾.

Не укрывается от него и общая тенденция послания Барнава — призыв к умеренности и спокойствию, благоразумные советы, обращенные к народу — спокойно ожидать укрепления нового строя. Пылкий революционер возмущается охранительной тенденцией адреса и восклицает: „Читая это обильное и безжизненное многословие, видишь, что Барнав растворил на шести страницах единственную, да и то ложную мысль, которую можно выразить в двух строчках: „Народ, хочешь иметь хорошие законы, не мешай своим законодателям, и не трогайся с места“²⁾.

Но в этом адресе нам остается отметить еще одну мысль Барнава, важную для последующего развития его идей, мысль, которая только косвенно привлекла внимание его зоркого противника. Эта мысль заключается в том, что еще в марте 1791 года Барнав считает необходимым „положить предел Революции“ (*terminer la Révolution*). Он

указывает и объективную причину для этого — утверждение конституционной „хартии“. Уже в 1791 г. Барнаву кажется, что революция дала все, что можно было от нее ожидать—новые гражданские и политические учреждения, ликвидацию дворянской собственности, новую денежную систему, гражданское устройство церкви. В этом кругу замыкаются идеалы общественной группы, к которой принадлежит Барнав. Чем чаще начнут проявляться „движения“, от которых предостерегает Барнав, чем больше народ начнет вмешиваться в дело своих законодателей, тем упорнее и дольше будет Барнав останавливаться на необходимости положить предел слишком зашедшей вперед революции. Но сама мысль — ликвидировать революцию, пока не поздно—рождается у Барнава еще до Вареннского кризиса, и рождается в обстановке, когда ничто, повидимому, не угрожало благополучию создаваемой конституции. Одного этого пункта достаточно для опровержения утверждений тех биографов и историков, которые в переживаниях Барнава во время бегства короля видели начало мысли, что пора покончить с революцией.

Поэтому и кризис 20 июня 1791 г. не имел такого решающего значения в развитии политических идей Барнава, какое ему обычно приписывается; он только подтвердил для него тот взгляд на революцию, который им громко был заявлен с трибуны якобинского клуба еще в марте 1791 года.

Когда на почве недоверия к королю, задержанному в Варенне, началось очень сильное республиканское движение, демократическим очагом которого был клуб кордельеров, в Барнаве окрепли его консервативные стремления, и он решил встать поперек революции, которая грозила продолжиться и потрясти не только новую государственность, но и самые устои общества. Всё, что делал и говорил Барнав в эти несколько дней, когда король с семьей бежал и был задержан, диктуется этой основной целью — сохранить все, что возможно, от конституции 1791 г. и предотвратить дальнейшее течение революции¹⁾.

¹⁾ S. J. II, 191.

²⁾ S. J. II, 192

¹⁾ Oeuvres, I, 129—132.

С этой целью Барнав при первой же вести, что государство осталось без главы исполнительной власти, выступает на защиту далеко не симпатичного ему Лафайета, желая сохранить командование национальной гвардией в надежных руках ¹⁾. С властью диктатора руководя заседаниями Национального Собрания, Барнав провел постановление, чтобы граждане спокойно вооружились и терпеливо ожидали событий, чтобы войска принесли присягу на верность конституции, в текст которой Барнав, правда, безуспешно, пытался вставить обязывающие слова о „верности конституционному королю“ (*fidélité au roi constitutionnel*). 22 июня, когда пришли известия, что король задержан и едет назад, опять-таки Барнавом же были приняты быстрые и решительные меры для охраны беглецов.

Барнав сделался центром, от которого исходили все указания и советы. Не забыл он и Общество Друзей Конституции, в котором видел всегда главный рычаг для направления событий. Вечером 21-го, когда еще полная неопределенность окутывала политический горизонт, он выступает на чрезвычайном заседании Общества и грозно обрушивается на тех, кто не хочет объединиться в эти часы кризиса вокруг „Друзей Конституции“, в страстных выражениях он предаст публичному позору тех, кто не может пожертвовать своей ненавистью и отказаться от преследования личных интересов; он заранее бичует тех, кто хочет уклониться от пути, начертанного конституцией ²⁾. И в заключение предлагает напряженно внимающей аудитории свой проект послания провинциальным отделениям Общества, который тут же принимается присутствующими. В этом любопытном документе, составленном в такой ответственный момент, когда каждое неосторожно вырвавшееся слово грозило самыми неожиданными последствиями, отражается вся политическая физиономия Барнава, трезвого демагога, учитывающего всякое слово, всякое выражение, всякий жест. Как дипломатический документ, послание Барнава, где при кристальной ясности мысли нет ни од-

ного лишнего слова, может быть смело причислено к шедеврам политического искусства.

Вот что говорил Барнав в этом „письме Парижского Общества Друзей Конституции своим афилированным обществам“:

„Друзья и братья! Король, введенный в заблуждение преступными внушениями, удалился от Национального Собрания. Не упав духом от этого события, мы и наши сограждане мужественно поднялись до уровня этих обстоятельств. Глубокое впечатление, испытанное нами, не сопровождалось никакими беспорядками и никакими волнениями. Спокойная и решительная твердость помогает владеть нам всеми нашими силами; последние посвящены защите правого дела, и они победят.

„Все распри забыты; все патриоты вместе. *Национальное Собрание* — вот наш вождь; *Конституция* — вот наш лозунг единения. Подписано: Буш, председатель; Билькок, Антуан, Кодерло, Салль, Ренье-племянник, Дюфурни и Руссель — секретари“ ³⁾.

В своих мемуарах в дни опалы и вынужденного бездействия Барнав с удовольствием вспоминает об этих критических днях. Отмечая возвращение былой популярности и сладость вновь ощущаемой власти, он говорит о себе и о своих друзьях: „Нам была вручена власть, приближавшаяся к диктатуре“ ²⁾. Jaugès, пользуясь этими словами Барнава, правильно говорит, что Барнав стал в эти дни „настоящим вождем буржуазии“ ³⁾. Нет ничего удивительного в том, что Барнав был единодушно избран Собранием одним из трех комиссаров, посланных навстречу королю.

Сотоварищем Барнава по этой щекотливой миссии был Жером Петион, начинавший тогда свою головокружительную и вместе с тем трагическую эпопею. Склоняясь уже к „республиканизму“ и примыкая к кружку Бриссо, Петион относился к Барнаву с плохо скрытым подозрением, а когда комиссарам пришлось трястись в одной карете с королевской семьей на пути из Эперне к Парижу, Петион

¹⁾ Речь 21 июня в Национальном Собрании. М VIII, р 720.

²⁾ S J. II, 537, а также *Buchez et Roux*, t. X, 289.

³⁾ S J II, 538.

²⁾ *Oeuvres*, I, 129.

³⁾ *La Constituante*, p. 708.

не спускал глаз и следил за малейшим движением Барнава. Тут, по историческому преданию, в этой тесной карете, завязывается та тонкая романическая интрига, которая привела Барнава к ногам соблазнительной королевы; к этому историки-романисты услужливо прибавляют и психологическое объяснение вроде того, что Барнав был так тронут горем королевской семьи и грустью прекрасной Марии-Антуанетты, что не мог удержать порыва своего сердца, претворившего теплое сочувствие в преданную любовь. От заманчивых чар этой легенды не уберется даже Жорес, усмотревший в Барнаве черты Стендаля¹⁾.

Напротив, рассказ Петиона в его знаменитом письме не оставляет ни тени сомнений в том, что между Барнавом и королевой не было не только любовных интриг, но и просто конспиративных разговоров. „Барнав держался по отношению к королеве сдержанно и с достоинством; разговоры его не казались мне таинственными“, категорически говорит Петион о Барнаве, которого тут же, десятью строками выше, подозревает в заговоре против революции²⁾. Ниже Петион отмечает: перед обедом во время остановки в Ля Ферте су Жуар „Барнав немного говорил с королевой, но, как мне показалось, довольно равнодушно“. Беранже, самый обстоятельный биограф Барнава, категорически отрицает, чтобы между Барнавом и королевой были какие-нибудь интимные разговоры, взаимные обязательства и т. п.³⁾. Сам Барнав говорит, что в карете их было семеро, что комиссары по понятным соображениям не расставались друг с другом, а присутствие Петиона внушало осмотрительность. Когда на заседании якобинского клуба 26 июня Барнав делал отчет „о миссии членов Общества, которым было поручено привезти ко-

роля“, то Петион настоятельно посоветовал ему указать на тот факт, что во время всего путешествия трое комиссаров были всегда неразлучны, „ибо, — прибавил Петион, — в столь деликатной миссии крайне важно констатировать этот факт“⁴⁾.

Но, без сомнения, Барнав был глубоко потрясен событиями этих дней, в особенности своей ролью около короля и его семьи. Вспоминая об этом, он с подкупающей искренностью писал: „Эпоха, навсегда запечатлевшаяся в моей памяти и, однако, доставившая столько предлогов низкой клевете“⁵⁾. Психологически такое признание понятно и естественно в устах преданного монархиста, каким всегда оставался Барнав; напротив, было бы странно, если бы он отнесся равнодушно к этому мучительному испытанию своей лояльности гражданина. Для Барнава арестован и унижен был не столько Людовик XVI, как личность, а монархическая идея, которая подверглась тягчайшему испытанию во время этих событий. Вот что было невыносимо больно для него — пронизательного политика и монархиста. Петион со своей подчеркнутой развязностью по отношению к королевской семье мог только усиливать эти переживания Барнава, в которых так неожиданно открыли романическую завязку. Барнав хорошо оценил значение этих дней для судеб той конституции, ради которой он положил столько трудов и энергии. Как только король оказался в Париже, Барнав с прежним упорством повел борьбу за конституционный принцип, испытывший только-что тяжелое потрясение.

Задача Барнава на этот раз осложнялась, так как приходилось учитывать влияние новой группы, которая и в стенах Собраний, и вне их сознательно шла к низвержению конституции. Республиканское движение поднимало свою голову. На этот раз борьба завязалась вокруг вопроса о неприкосновенности короля. Вполне последовательно с точки зрения конституционной теории, взятой с английского образца Барнав указывал на необходимость привлечь к ответствен-

¹⁾ *Jaurès*. La Constituante, p. 373. Дальнейшие его замечания несколько ослабляют слова об увлечении Барнава «романическими чарами при Вареннской авантюре». На стр. 712 он говорит: «Возможно (курсив наш), как утверждают его противники, он был очарован красотой королевы и тронут ее печалью, когда он сопровождал ее».

²⁾ *Voyage de Pétion au retour de Varennes* издано в приложении к *Mémoires de Pétion et mémoires de Buzot et de Barbaroux*, par *Dauban*. Paris, 1866, p. 196.

³⁾ Notice historique... Oeuvres, I, p. XC.

⁴⁾ S. J. II, 554. *Buchez et Roux*, t. X, 422. Oeuvres de Barnave, I, 131—132.

⁵⁾ Oeuvres, I, 129.

ности министров, как лиц, отвечающих за соблюдение закона исполнительной властью. И тут надо заметить, что английская конституция понималась Барнавом не в той стилизованной форме, которую мы находим в знаменитой 6 главе XI книги „Духа Законов“. Несомненно под влиянием Блекстона и Делольма, но, главным образом, благодаря пристальному изучению новейшей истории Англии, Барнав правильно оценил сравнительное значение различных элементов английской конституции ¹⁾.

В то время, как Монтескьё, а за ним Мабли не поняли значения большинства палаты общин в образовании органов исполнительной власти, Барнав отмечает, что устойчивость правительства достигается здесь постоянством большинства в нижней палате по вопросам управления (*sur les questions de gouvernement*). В нем он правильно усматривает залог силы исполнительной власти и неуклонное постоянство в проведении своих решений ²⁾. Он сторонник сильной власти — *de la puissance dominante* — по его терминологии. Но ответственность за все проявления власти должна падать только на министров. Идеальный министр должен, по его представлению, поддерживать королевскую власть со всей той силой, на которую его уполномочивает конституция, и в то же время руководиться только общественным интересом ³⁾. „Англия“, говорит он, „ограниченная монархия, в которой имеется кое-что из принципа торгового (*quelque chose des principes marchands*) и кое-что из начал монархических“. Обращаем внимание на то, что и здесь Барнав выдвигает в качестве одного из составных элементов английской конституции не демократию, не „демократический принцип“, как говорила школа Монтескьё, а „торговый принцип“, т. е. буржуазию, представительницу

¹⁾ Последняя всегда удивляла его, и он как-то выразился о ней: «сохранить с единством и энергией импульса великодушные принципы и свободу гражданина — в этом задача длительной и сильной власти. Ни одна нация не дала более удачного образца такого решения, как английская нация столет тому назад. — *Oeuvres II*, 87.

²⁾ *Réflexions politiques sur la Révolution*, представляющие записки Барнава по разным вопросам политики и права, относящиеся к различным моментам его деятельности в Конституанте и после нее.

³⁾ *Ibidem*, t. II, 90.

движимого коммерческого капитала ¹⁾. Такую конституцию имел в виду Барнав, когда настаивал 15 июля на необходимости учреждением ответственного перед законом министерства сохранить на всегда от всяких революционных потрясений королевскую власть ²⁾.

В связи с этим Барнав возвращается к старой своей мысли о необходимости положить предел революции, мысли, которую мы встретили в якобинском послании Барнава в марте 1791 г. Только здесь, в связи с новой обстановкой, он указывает на те губительные последствия, которые явятся в результате дальнейшего революционизирования: „Факты общеизвестны; но я резюмирую их и говорю: всякое изменение теперь фатально; всякое продолжение революции было бы теперь пагубно; я ставлю вопрос таким образом, и именно с этой стороны он интересен для нации. Собираемся ли мы закончить революцию, или снова начать ее? (Несмолкаемые аплодисменты). Раз вы проявите недоверие конституции, спрашивается, где вы остановитесь на этом пути, и главное, где остановятся ваши преемники? Большое зло, когда стремятся увековечить это революционное движение, которое уничтожило все то, что следовало уничтожить, и довело нас до такого пункта, где следовало остановиться... Подумайте же, господа, о том, что произойдет после вас. Вы создали все необходимое для свободы и равенства, не пощадив ни произвола, ни эгоистической узурпации, ни захватов в сфере собственности; вы сделали всех людей равными перед законами гражданскими и политическими; вы взяли и вернули государству все, что у него было отнято. Из этого вытекает та великая истина, что всякий дальнейший революционный шаг не безопасен; ведь поскольку речь идет о свободе, теперь возможно было бы лишь упразднение собственности ³⁾.

Эта речь хорошо вскрывает взгляды Барнава на то, что в XVIII веке называли „духом революции“, т. е. на природу революционного кризиса и на пределы обновления Франции. Инстинктивный консерватизм Барнава, различные проявления которого нам приходилось наблюдать выше,

¹⁾ *Oeuvres II*, 250.

²⁾ *M. t. IX*, 128, 143.

³⁾ *Jaurès. La Constituante (1789—1791)*, p. 714.

сказывается здесь в момент борьбы за конституцию самым ярким образом — демократия собственников, управляемая монархически на основе конституции, близкой к английской — вот квинт-эссенция политической мудрости Барнава. К этой широкой и яркой картине последствий революции он будет возвращаться всякий раз, когда ему придется защищать королевскую власть от нападений слева; ничего не прибавляя нового, он будет детально развивать свою мысль о необходимости укрепить раз достигнутое в борьбе.

С этой же точки зрения оценивал Барнав и деятельность Национального Собрания по пересмотру конституции. Последнее, по его словам, не только должно было закончить конституцию, но созданием сильной власти консолидировать и укрепить новый строй ¹⁾.

В его глазах ревизионный комитет Конституанты, на котором и лежала главная работа по кодификации и систематизации различных конституционных законов, должен был сыграть роль тормоза, преграждающего стихийную поступь революции. И в эту работу, в качестве одного из членов комитета, Барнав уходит с головой ²⁾.

Во время прений по пересмотру конституции он несколько раз выступает по самым основным вопросам и здесь разворачивает перед нами свое политическое мировоззрение, как оно определилось к моменту роспуска Национального Собрания. 11 и 15 августа он говорит по поводу ценза для активного и пассивного избирательного права, защищая двухступенность выборов и довольно значительный ценз для выборщиков второй категории. Предложение Барнава, вполне согласовавшееся с охранительным настроением большинства Собрания, как известно, было принято им ³⁾. 31 августа Барнав выступает с большей речью о „национальных кон-

вентах“, — особых законодательных органах, которым поручалось на будущее время издание тех законов, которые по нашей терминологии носят название основных ¹⁾. Наконец, во время жарких прений по вопросу о праве переизбиремости членов Конституанты Барнав несколько раз берет слово и настаивает на том, чтобы депутаты Учредительного Собрания, как приобретшие государственный опыт, не были лишены права, которое доступно всем другим гражданам ²⁾. Если по первым двум вопросам Барнав одержал полную победу, то по третьему он потерпел поражение: Конституанта разошлась, постановив, что ни один из ее членов не может быть избранным в Законодательное Собрание.

В речи 11 августа о цензе Барнав резко противопоставляет свою политическую систему, которую он отныне назовет „представительной“ (*gouvernement représentatif*), демократии. Разграничительная черта между ними лежит в том, как понимается идея представительства. Если смотреть на избирательную функцию, как на проявление индивидуального права, тогда естественно считать, что это право принадлежит всем. Такое государство представляет народовластие, исторические образцы которого мы имеем в Спарте, Афинах и Риме. Возможно ли осуществить такой строй теперь, как это проповедуют сторонники „метафизических идей“ в политике? Нет, отвечает Барнав, и тут же с привычной ему проницательностью указывает, что социальная структура, классовая организация современного общества, на которой покоятся политические формы, совсем не то, что в Греции и Риме. „Не нужно забывать“, говорит он, что „демократия в Спарте осуществлялась ценою рабства гелотов. Точно так же, жертвуя индивидуальными правами части народа, лакедемоняне, афиняне и римляне управлялись демократически. Итак, я спрашиваю тех, кто проповедует здесь метафизические идеи..., разве они забыли, что демократия одной части народа может осуществляться только ценою рабства другой части“. Раз общество состоит из различных экономических категорий — Барнав на своем языке называет

¹⁾ Elle (l'assemblée) avait abbatu, elle avait créé; il lui restait à consolider et à maintenir, — говорит Барнав, в своих мемуарах.

²⁾ Oeuvres I, 158: «J'étais membre du comité de revision, — говорит Барнав в «Мемуарах», — et, sans être un des principaux acteurs de son travail, j'avais assisté avec une grande assiduité à ses séances. Je le défendis, dans l'assemblée, avec la franchise et l'énergie, avec lesquelles j'ai toujours soutenu mes opinions».

³⁾ Речь «Sur les Elections» по тексту литографического журнала помещена в Oeuvres de Barnave, I, 267-275. А также М. т IX, 376, 395, 411 и 462.

¹⁾ Речь 31 августа «Sur les Conventions nationales et le Pouvoir constituant» — Oeuvres I, 274-285 и М., т. IX, 555.

²⁾ М., т IX, 561, 572.

их то богатыми и бедными, то высшими, низшими и средними классами—„функция избирателя“ вовсе не право, она—*обязанность*, требующая таких условий, которым не могут удовлетворить ни высшие, ни низшие слои населения. Условия эти—достаточная интеллигентность (*les lumières*), заинтересованность в общественных делах и имущественная самостоятельность (*l'indépendance de la fortune*)—имеются налицо только среди средних классов населения; а потому общество, раскладывающее на граждан обязанность (тягло) представительства, „должно искать выборщиков в рядах среднего класса“.

Итак, мы видим, что Барнав органически связывает свое учение о „представительной“ системе с определенным пониманием общественных отношений на почве экономического неравенства отдельных групп населения. Классовая структура общества, господство одних над другими для него бесспорные факты, на которых он строит свое „позитивное правительство“ (*gouvernements positifs*) в отличие от разных утопических построений, исходивших из плохо понятых конституций древнего мира.

Сама по себе теория „представительного правительства“ едва ли может считаться оригинальным плодом мысли Барнава; приблизительно то же самое развивали и другие ученики Монтескьё из „умеренных“, в частности друг Барнава Дюпор. Но обоснование этой теории, глубокое по замыслу и тонкости анализа, составляет неотъемлемую принадлежность политической мысли Барнава. Во всех его рассуждениях на первом плане факт, неприкрашенная реальность, опыт, история. Барнав тщательно старался отмежеваться от всяких построений в духе естественно-правовых теорий, и с этой точки зрения враждебно нападал на доктрину Общественного Договора, видя в ней самую опасную метафизику. Он предпочитал ссылаться на Мабли, на Гельвеция, на экономистов-физиократов, даже на Гольбаха, правда, заимствуя у них не моралистические афоризмы, а ценный порой анализ общественных отношений, исторический пример, трезвую критику какого-нибудь политического учреждения.

Какое место занимал сам Барнав в философском движении века, мы узнаем ниже, теперь же посмотрим, как им

оценивалась конституция 1791 г. в целом после того, как она была принята 13 сентября королем и вошла в государственную жизнь Фракции. И, чтобы лучше оттенить точку зрения Барнава, мы сравним его „критические заметки“ с мнением о „конституционном акте“ такого типичного монархиста, как Малуэ. Первый был создателем конституции, второй ее убежденным противником, но так ли велика пропасть между их взглядами на нее?

Центр тяжести в критике Малуэ заключается в основном упреке в непоследовательности, обращенном к конституционалистам. Вы — собственники, — указывает им Малуэ, — вполне правильно считающие, что конституция должна покоиться на собственности, каким образом вы допустили кричащее противоречие между принципами декларации прав и содержанием основных законов государства? Разве декларация может устранить нестираемое различие между богатыми и бедными? Не понимая этого, вы заносите топор над собственностью и над обществом ¹⁾. Вот, с какого рода животрепещущими вопросами обращается Малуэ к левой стороне Собрания. Это основное противоречие, по мнению Малуэ, фактически проявляется в опасном расширении границ политической свободы, ставшей уделом всех и каждого в то самое время, когда конституция почти парализует действительную силу королевской власти и уничтожает аристократию, как опору трона.

Все остальные упреки Малуэ не так существенны для его понимания конституции и вытекают из главных: так, он обвиняет конституцию в абстрактном понимании суверенитета; указывает, что закон вовсе не является выражением общей воли, что административная система обессиливает центральную власть, и так далее. Но главное в том, что одна палата и король с суспензивным вето не дают никаких гарантий ни для естественных, ни для гражданских прав. В перспективе анархия, так как бессильная королевская власть не в состоянии исполнить того, что от нее потребуют.

¹⁾ *Mémoires de Malouet*, publiés par son petit-fils le baron de Malouet 2^e édition, II, 164–175. Opinion sur l'acte constitutionnel, commencée et interrompue dans la Séance du lundi 8 août 1791.

Барнав в своих „критических заметках на конституцию“ имеет в виду как раз эти замечания Малуэ, так как возражает „партизанам английской системы“, поклонником которой являлся и риомский депутат ¹⁾. Устраняя упрек, что конституция составлена из внутренне противоречивых и непримиримых элементов, Барнав на основании исторических доказательств (существование свободы в Риме, благодаря взаимодействию между сенатом и народом; процветание Англии при системе трех борющихся между собой носителей власти) говорит, что эта „борьба властей“ (*cette lutte de pouvoirs*) существенна для конституции, так как отсюда и рождается политическая свобода; но для этого необходимо, как в Англии, разделить *законодательную прерогативу* между королем и собранием; иначе собрание, пользуясь неразделенной законодательной властью, может нарушить равновесие и установить деспотизм. Опасность последнего рода и угрожает Франции, конституция которой не совершенна потому, что в ней плохо проведена идея разделения власти между различными органами государства ²⁾. Последнее обстоятельство и повело к тому, что в монархическую по существу конституцию введен республиканский принцип, заключающийся в неограниченных правах единой палаты на законодательство. Отсюда внутреннее противоречие во всем замысле творцов конституции, тающее в себе неисчислимы последствия ³⁾.

Итак, Барнав вполне согласен с Малуэ, что основным пороком конституции 1791 г. является ослабление королевской прерогативы. Но далее пути их расходятся: в то время, как „бикамерист“ Малуэ советует для укрепления королевской власти создать верхнюю палату по образцу английской, „позитивист“ Барнав указывает, что пути к такому решению вопроса отрезаны всем ходом французской истории, создавшей рядом с сильным королем политически ничтожное дворянство, осужденное на гибель революцией. „Ход событий,—говорит Барнав,—привел нас к необходи-

мости установить однопалатную систему“ ⁴⁾. Исходя из этого, учитывая стихийную целесообразность исторического процесса, Барнав поручает исправление недостатков конституции опыту, времени, а в особенности влиянию достаточно просвещенного общественного мнения. Дайте возможность осуществиться конституции, испытайте ее на деле, предохраните монархию от опасностей, угрожающих ей со всех сторон, и все остальное приложится само собой—такое окончательный приговор Барнава над конституцией 1791 г. ²⁾.

В этой оценке конституции все еще чувствуется бодрый политический оптимизм Барнава, его неисчерпаемая вера в конечное торжество прогрессивных идей, несмотря на то, что каждый день приносил все новые и новые удары, болезненно переживавшиеся им.

В самый разгар прений по конституции Робеспьер бросает Дюпору, другу Барнава, тяжкое обвинение в тайных сношениях с двором. Дюпор и Барнав не поднимают брошенного вызова. Жорес по этому поводу правильно полагает, что в это время они уже сносились с двором и руководили действиями короля ³⁾.

15 сентября, т. е. на другой день после того, как Париж торжественно отпраздновал принятие королем конституции, Общество Якобинцев обратилось к своим отделениям с очередным посланием, в котором яростно обрушивается на речь Барнава о „национальных конвентах“, сказанную 31 августа. Консервативные стремления когда-то популярного депутата не укрылись от якобинцев, и послание рисует Барнава в компании аристократов, стремящегося извратить идеи революции, прикрываясь словами свободы ⁴⁾.

Вскоре после этого (25 сентября) для Барнава и его политических друзей навсегда захлопнулись двери Общества Друзей Конституции. По предложению Реньо Общество принимает решение вычеркнуть из своих списков имена Адриена Дюпора, Шарля Ламетта, Гупиль де Пре-

¹⁾ Oeuvres... I, 162, 167—168.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Oeuvres... I, 170—171.

⁴⁾ «la marche des événements qui nous ont conduits à la nécessité d'établir l'unité de chambre» (Oeuvres. I, 168).

²⁾ Oeuvres, I, 161, 171.

³⁾ Jaurès, I, 741—2.

⁴⁾ S. J. III, 129—130.

фельна, Александра Ламетта и Барнава, „которые не могут более находиться среди истинных друзей Конституции и гуманности“¹⁾.

Наконец, с концом заседаний Национального Собрания обрывалась самая политическая карьера Барнава, вынужденного на невольное бездействие известным декретом, воспрепятствовавшим переизбранию членов Конституанты.

После всего этого, что мы знаем о политических идеях Барнава, уместно попытаться разрешить все еще спорный вопрос о сношениях Барнава с двором. Леон де Ломени категорически отрицает эти сношения, опираясь на слова Барнава перед революционным трибуналом, судившим его в самый разгар террора, осенью 1793 года. Барнав в защитительной речи, дошедшей до нас в свободной передаче своего защитника Лепидераля, говорит, обращаясь к своим судьям: „Клянусь своей головой, что никогда, абсолютно никогда между мной и двором не существовало ни малейшей переписки; никогда, абсолютно никогда моей ноги не было во дворце“²⁾. Чтобы не омрачать нравственного облика Барнава, Ломени настаивает на необходимости принять на веру эти слова подсудимого, брошенные в лицо Эрманну и Фукье Тэнвиллю. Но Ломени со своей точки зрения биографа-моралиста предпочитает судить, а не объяснять, что делает его точку зрения неприемлемой для нас.

Беранже, лучше знавший Барнава, намеренно темен и противоречив при обсуждении этого вопроса; тем не менее он утверждает, что король, оставив свои предубеждения против Барнава, Дюпора и братьев Ламеттов, обращался к ним за советами по поводу текущих дел; эти советы давались охотно и искренно, в них не мог не принимать участия и Барнав³⁾.

Сент-Бёв не только примкнул к этому взгляду, но присоединил к своему этюду о Барнаве ценный документ, объясняющий, как происходили эти таинственные сношения конституционалистов Национального Собрания с коро-

¹⁾ S. J., t. III, 149.

²⁾ Oeuvres de Barnave. Défense de Barnave devant le Tribunal révolutionnaire, II, 385.

³⁾ Oeuvres de Barnave. Notice historique, p. CX, CXX—CXXI.

левой¹⁾. Если даже не привлекать сюда, как все еще спорный источник, коллекцию писем Барнава к королеве, изданную Гейденстамом, то все же у нас имеются прямые данные об этой связи, заключающиеся между прочим в мемуарах госпожи Кампан, лектрисы двора и человека, очень близкого к Марии-Антуанетте²⁾. Несмотря на все анахронизмы и неточности этих интимных записок, несмотря на чисто дамскую болтовню и преувеличения, рассказ мадам Кампан изобилует такими бытовыми подробностями, игнорировать которые не решится ни один исследователь³⁾.

Если к этому присоединить документ о сношениях Барнава, сообщенный Сент-Бёву маркизом Жокурром, некоторые места из переписки самого Барнава и косвенное свидетельство его лучшего биографа Беранже, мы получим почти полную картину тайных сношений радикального триумвирата—Дюпора, Барнава и Ламетта—с двором.

Начиная свои конспиративные сношения с двором вскоре после Вареннского кризиса, „члены конституционной партии“ были далеко не первыми на этом скользком пути. Великий Мирабо со своей великой беспринципностью осветил этот способ служения и революции, и монархии одновременно. Советоваться было тогда в моде, спрашивали советов и указаний даже у лиц, не имевших никакого отношения к политике. Так, однажды обратились, по словам мадам Кампан, к некоему Дюбюку (Dubuck), бывшему интенданту флота и колоний, который по-солдатски прямолинейно посоветовал: „препятствуйте организации беспорядка“⁴⁾.

Нужно обратить внимание и на тот факт, что все сношения велись коллективно, от лица группы конституционалистов Собрания, которая посылала свои советы королеве

¹⁾ *Sainte-Beuve*. Causeries du Lundi, t. II, 39, 44—45.

²⁾ *Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France et de Navarre*, par *M-me Campan*. Из собрания мемуаров Бервиля и Барера.

³⁾ Aulard в своей биографии Барнава, помещенной в *Grande Encyclopédie*, серьезно считается с записками *Madame Campan*.

⁴⁾ *Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette...* par *M-me Campan*, t. II, 162.

через третьих лиц; Барнав, если угодно, был до некоторой степени формально прав, когда утверждал, что *лично* у него не было никаких сношений ни с двором, ни с королевой. Впрочем, одновременно с перепиской происходили и личные свидания. Сначала виделись с королевой Дюпор и Александр Ламетт; после принятия конституции (14 сентября 1791 г.) во дворце бывал и Барнав, соблюдая неимоверные предосторожности¹⁾.

„Конституционалисты“ придавали огромное значение этим сношениям и своим советам. Потеряв возможность управлять событиями в Собрании, они перенесли свои усилия в интимные комнаты королевских покоев, где пытались овладеть быстро несущимся потоком событий, разумно направляя флегматичную волю Людовика XVI и сдерживая контр-революционную страсть Марии-Антуанетты. Барнав не изменил себе и на этом посту интимного советника, зло бичуя аристократию и упорно борясь с органическим отвращением королевы к конституции 1791 г.

Записки госпожи Кампан сохранили нам кое-какие фрагменты его писем к королеве. Несмотря на своеобразное преломление, через которое они дошли до нас, мы встречаем тут те же идеи, которые Барнав с упорством защищал во время пересмотра конституции. Впрочем, самые идеи Барнава не так показательны здесь, к тому же они могли быть интерполированы мемуаристкой; поражает тон и психологический колорит этих отрывков — оптимистический пафос, уверенность, что революция пойдет вспять, как только король искренно уверует в конституцию, желчные сарказмы в сторону эмигрантов-аристократов, „партии принцев“, и любимые исторические примеры: Генрих IV, завоевывающий католический трон не с помощью иностранных государей, а во главе протестантской партии²⁾.

Тот же тон имеют письма Барнава из шведской коллекции; от него как-будто ускользает смысл совершающихся сдвигов и перемещение социальных сил: он верит в скорое торжество монархического принципа, переоценивая роль свою и своих друзей. Эрнест Додэ прав, когда

говорит, что если кто в этой политической переписке питает иллюзии и мечты, то во всяком случае не королева. Одно действительно серьезно беспокоит Барнава и его друзей — усиливающаяся возня в эмигрантском лагере и разрушительная работа бежавших аристократов. Он боится внешних сил связи с внутренними затруднениями. Но надо отдать справедливость Барнаву, он довольно скоро понял, что остановить революцию путем благожелательных политических уроков королеве — вещь довольно безнадежная. Тем более, что и его корреспондентка не всегда проявляла достаточно доброй воли для устранения возникавших то-и-дело осложнений. В связи с этим Барнав охладевает к политическому менторству, разочаровывается в действенности своих советов и начинает думать о перенесении поля своей деятельности из столицы в родную провинцию. Настроение последней живо интересует его, он начинает чаще останавливаться на идее, что Париж без поддержки страны не в силах произвести новую революцию, и готовится сыграть в Дофинэ ту роль, которую не удалось осуществить в 1789 г. его соотечественнику Мунье.

¹⁾ *Mémoires...* par M-me Campan, t. II, 184—185.

²⁾ *Mémoires...* par M-me Campan, t. II, 192—193.

ГЛАВА III.

Барнав после Конституанты.

Барнав вернулся на родину, в Гренобль, в самом начале 1792 г. Политическая обстановка в начале работ Законодательного Собрания не особенно тревожила его. Со свойственным ему оптимизмом он верил в конституционное настроение широких народных масс, и даже бурные выступления будущих жирондистов казались ему преходящими трениями. В гораздо большей степени Барнав направлял свой пытливый взор к границам Франции, за которыми слышались какие-то движения и недвусмысленные приготовления к войне. Международные отношения всегда казались ему крупной слагаемой в общей сумме исторических двигателей народной жизни, в особенности же в години кризисов и революций. От того, как поведет себя старая Европа по отношению к революционной Франции, зависела, по мнению Барнава, судьба не только конституции, но даже монархии ¹⁾.

Вдали от дел и бурных политических страстей Барнав превращается в упорного наблюдателя за ходом и перипетиями революции. „С тех пор,—признается он,—я следил за вещами издали, знакомясь с ними из журналов и по редким письмам нескольких друзей; но для суждения о событиях у меня было знание большей части лиц, которые руководили ими ²⁾“.

Вопрос о войне, который уже не сходил со страниц журналов, все больше и больше привлекает его внимание,

но мрачные предчувствия и картины все еще уступают место радужным надеждам. Это видно хотя бы из его письма к Теодору Ламетту от 31 марта 1792 года. „Разве вы не видите,—пишет он,—что во всем происходящем монархический принцип остается в уважении; перевороты пока что обрушиваются только на министров, это та дверь, через которую выходит бешенство заговорщиков... Не уничтожив во-время якобинизма, когда он был еще слаб, приходится теперь ожидать, чтобы он сам изжил себя... Монархически настроенная часть нации всегда останется верной себе“ ³⁾. Опасность для существующего строя он усматривает прежде всего в состоянии финансов, связанном с выпуском ассигнаций. „Отсюда беспокойство в народе, увеличивающееся по мере вздорожания цен, и приближение момента, когда правительство окажется не в состоянии производить платежи“ ⁴⁾. Но банкротство, к которому неизбежно „в быстрой прогрессии“ идет государство, может и не наступить при работах этой законодательной палаты, если только не будет войны ⁵⁾.

Около начала апреля он снова возвращается к этой теме: возможными причинами кризиса он считает — финансы, иностранные дела и движение народа против Тюльери. „Самое печальное—это последнее: здесь уж нет никакого выхода“. А затем, как заправский экономист, начинает подсчитывать „состояние финансовых счетов на 3 апреля, согласно рапорту Камбона“ ⁶⁾.

В предвидении войны, страшась неизвестного будущего, связанного с ней, Барнав любил приоткрыть завесу грядущего и всмотреться в его призрачную даль. Любопытно отметить здесь эти прогнозы Барнава, в которых глубокая проникновенность в суровую динамику фактов соединяется с интуитивным прозрением, граничащим с пророчеством. Барнаву представляется, что война поведет за собой сначала поражения, и только долго спустя окончательную победу; быть-может, враги будут угрожать Парижу, но народ оправится, научится управлять и — слабая надежда.

¹⁾ Oeuvres . IV, 354—355.

²⁾ Oeuvres . II, 2

³⁾ Oeuvres . II, 3—4.

⁴⁾ Oeuvres . II, 6—7.

¹⁾ Oeuvres . I, 178—200.

²⁾ Oeuvres . I, 211.

у Барнава, неисправимого оптимиста, — „*сможет отожде-
ствить* короля и нацию, чего как-раз сейчас не наблю-
дается“ ¹⁾).

Как же представляется ему окончание революции, кто же положит предел революционному потоку? Еще год тому назад Барнав верил, что революция окончена, идет на ущерб, что пора приступить к укреплению нового строя. Теперь он оставляет эти иллюзии, сгибаясь под непреодолимой силой фактов. Ответ на старый и вечно для него новый вопрос он формулирует теперь в более общей форме: „Тот решит, быть-может, эту труднейшую проблему о конце революции, — говорит он, — кто найдет средства поставить у дел собственников и людей с самым твердым характером“ ²⁾. После этих пророческих слов не приходится удивляться, что первый консул воздвиг бюст Барнаву на лестнице вестибюля, ведущего в Сенат.

От прогнозов будущего Барнав обращается, однако, чаще к подведению итогов над прошлым, к размышлениям о скрытых и явных пружинах революции, разразившейся во Франции, но готовой вспыхнуть, как ему кажется, и в других странах обветшавшей и полуфеодальной Европы. Верный своему методу — искать корней настоящего подальше от туманных сфер отвлеченных построений, Барнав обращается для разрешения волнующих его вопросов к прошлому, старается уловить закономерный темп исторического процесса, вслушаться в ускользающий смысл сменяющихся форм и наслоений.

Время вынужденного бездействия становится для Барнава периодом напряженной творческой работы мысли, предвещающей в общих чертах многие достижения XIX века. Смелыми штрихами он набрасывает свое главное историко-философское произведение — „Введение во Французскую Революцию“, которое составило впоследствии естественное введение к его мемуарам, носящим то же самое заглавие. К этому он присоединяет „Политические размышления о Революции“, целую краткую энциклопедию государствен-

ных наук, выясняющую теоретические его воззрения по этому предмету.

Затем от права и политики Барнав переходит к индивиду, от социальной психологии к психологии индивидуальной и морали. Позднее, после занятий над „моральным человеком“, Барнав стал углубляться в наблюдения над „физическим человеком“, предваряя некоторые физиологические наблюдения Кабаниса и Биша.

Если присоединить к этому занятия Барнава литературой и методологией, его заметки по диалектике, ораторскому искусству, эстетике, дидактике, то мы в самых общих чертах очертим тот обширный круг интересов и запросов, который охватывает пытливый дух Барнава. Сделанное Барнавом в области специальных наук и литературы принадлежит, бесспорно, истории этих наук, но даже Кейм, характеризуя судьбу учений Гельвеция во Франции на ряду с Вольнеем, Редерером, Дестютт де Траси, Гара, Кабанисом упускает упомянуть Барнава, одного из ярких и своеобразных эпигонов материализма XVIII века ¹⁾.

Здесь, поскольку нас интересует сама личность Барнава, необходимо обратиться к его мемуарам, составление которых падает на бурное лето и раннюю осень 1792 года.

Мемуары Барнава знаменуют определенный момент в истории его мыслей и настроений. Барнав писал их под впечатлением доносящихся первых раскатов революционной бури, смывшей во Франции конституцию вместе с королем. Война с Европой, которой так боялся он, стала из предположений грозным фактом, влиявшим на ход революции, как он предвидел; неудачи французских армий, также предвиденные Барнавом, увеличивали опасность и порождали острую тревогу; усиливались и экономические затруднения, несколько ослабшие в предыдущем 1791 году. Париж, этот огромный революционный мозг страны, глухо волновался и готовился сделать то фатальное нападение на Тюльери, которого так боялся Барнав. Сбывались самые мрачные предположения, и не виделось ниоткуда помощи для погибавшего конституционного принципа. В этой тревожной атмосфере и зародились записки Барнава.

¹⁾ Oeuvres... II, 8

²⁾ Oeuvres... Réflexions politiques sur la Révolution, II, 8

¹⁾ Albert Kéim. Helvétius, sa vie et son œuvre. Paris. 1907, p.p. 606 — 647.

Барнав придал им характер оправдания и личной реабилитации. В одном месте он прямо так и говорит: „оправдание, а не панегирик пишу“ ¹⁾. В другом он предупреждает читателей, что берет в руки перо для того, чтобы отдать отчет в своей политической жизни, и потому в дальнейшем переходит к обсуждению личных вопросов ²⁾. Самое распределение материала записок свидетельствует о том, что Барнав имеет прежде всего в виду личную апологию, а не последовательный рассказ о событиях революции. Так, вся вторая глава посвящена объяснению мотивов, под влиянием которых вырвалась у него знаменитая фраза по поводу самосуда над Фулоном и Бертье: „Уж так ли чиста та кровь, которая только-что пролита“? Пятая глава озаглавлена: „Поведение автора в течение 1790 г.—Его ошибки“. Следующая глава: „Поведение автора 20 июня“.

Напротив, другие главы предназначены выяснить политические и социальные идеи автора, но и они написаны под тем же личным углом зрения ³⁾. Барнав не склонен рисовать действующих лиц и перипетии революционной драмы, хотя и мастерски может делать это, когда захочет; он прежде всего рассуждает, объясняет, доказывает, не скупится на повторения, лишь бы выяснить то, что ему хочется. Все время перед собой в гренобльском уединении, в кругу семьи, за рабочим столом, он видит тех злостных и ядовитых врагов, которые забрасывали его грязью своих циничных памфлетов и пытались запачкать его репутацию, и как политика, и как гражданина, и даже просто честного человека. Это обстоятельство все время необходимо иметь в виду при чтении его мемуаров. Что же хочет доказать Барнав своим врагам и друзьям? Очень немного, а именно, что он никогда не изменял своим конституционным монархическим убеждениям, что он был преданным королю гражданином при всех превратностях революции ⁴⁾. Эта мысль не покидает Барнава, искренно рассказывающего нам о своих ошибках, падениях, увлечениях и уклонениях в сторону от правильной тактики. Он охотно кается во всех не-

осторожно сказанных словах, добровольно берет на себя часть вины за все происшедшее и бичует свое поведение с тем большей силой, что лучше, чем когда-либо, чувствует неизменную консервативность своих принципов и конечных целей ¹⁾. Его мастерской самоанализ рисует нам неудовлетворенное честолюбие молодого депутата, которому не исполнилось еще полных 30 лет; жажду популярности и яркого успеха; первые триумфы, отравление народным идолопоклонством и преклонением; борьбу за власть и влияние в рядах знаменитых ораторов Собрания и, наконец, мучительные ощущения первых неудач, неожиданные удары судьбы, травлю, падение, закат и сумерки одиночества для того, кто привык управлять многоголовым чудовищем-толпой среди грозных приступов революции.

Этой стороной своих записок Барнав обращен к прошлому, только-что пережитому им; но он не замыкается в своих мемуарах на прошлом, он судит настоящее со страстью публициста, политического трибуна и борца. Прежний Барнав с его бурным темпераментом проявляется в язвительных и смелых словах, обращенных к Законодательному Собранию, Конвенту, республике. Контр-революционные нотки звучат порой в этих страстных филиппиках, где спор переносится на личную почву, где историческая объективность иногда совершенно оставляет вдумчивого мемуариста.

Большинство членов Лежислативы не понимает настоящего положения вещей и поддается влиянию тех, кто хочет погубить нацию. „Не много можно ожидать от такого собрания!“ — восклицает Барнав. Оно делается орудием нескольких лиц, давно обдумавших свои планы разрушить конституцию, и вот „агитаторы“ увлекают за собой толпу неопытных депутатов, прибывших со всех департаментов королевства. Для осуществления своих намерений они толкнули Францию к войне ²⁾. В результате, что же дало стране Законодательное Собрание: во-первых, войну, подсчитывает Барнав; во-вторых, „преобладание почти во всем анархистов в ущерб друзьям порядка“, и, наконец, оно нечувствительно

¹⁾ Oeuvres... I, 119.

²⁾ Oeuvres... I, 95—96.

³⁾ Главы I, III, VII, VIII, IX, XI.

⁴⁾ Oeuvres... I, 100, 123—4.

¹⁾ Oeuvres... I, 100, 119—120, 126.

²⁾ Oeuvres... I, 208—209.

привело представительную конституцию к чистой демократии; короче говоря, оно распустило все страсти и уронило свое достоинство“¹⁾. Уже в тюрьме, переживая установление республики, Барнав заносил на листке бумаги: „Наша республиканская конституция — здание, построенное на песке в климате, где дуют ветры со страшной стремительностью“. И вместе с великими учителями XVIII века Барнав дидактически прибавляет: „Народ, раз утративший свою простоту, больше уж не вернет ее“²⁾. Республика неизбежно приведет к анархии, вырыв пропасть между собранием и народом; анархия, в свою очередь, закончится военным деспотизмом: „там, где единство государства поддерживается не монархией, а вооруженной силой, недалек тот момент, когда генерал станет королем“³⁾. Республики завоевательны по самой своей природе, их активность ищет выхода наружу, так как внутри государства нет сил, уравновешивающих друг друга в борьбе⁴⁾.

И тут, при свете этих печальных размышлений, Барнава посещает еще раз тот же роковой вопрос: можно ли положить предел революции, остановить ее мощный поток?

Динамика революционного процесса представляется ему в таком виде: здоровая часть нации — собственники — остается чужда революционной стихии, эта масса консервативна по своей природе, ей нужны прежде всего труд и спокойствие. Симпатии Барнава всецело на их стороне; но подчеркивая „консервативность“ собственников, он упускает из виду, что еще недавно он сам стоял во главе буржуазного потока, бурно ринувшегося на ветхие устои полуфеодального строя и смывшего их. Барнав сходит здесь с исторической точки зрения, революция начинает представляться ему интригой честолюбивых вождей, сумевших увлечь буйное меньшинство. Последовательно рассуждая — такую революцию не остановить, она представляет собою не более как борьбу личных сил и влияний, такая революция, кажется Барнаву, дойдет до своего естественного конца — до анар-

хии, и тогда, устав от бурь, снова вернется к тому, от чего начали — к прежнему деспотизму¹⁾.

Мысль Барнава заходит в логический тупик. Он, пытавшийся нащупать неизбежный закон возвышения и победы своей „касты“, сознательно отказывается считаться с некоторыми неизбежными последствиями того же самого закона, лишь только последние начинают противоречить его общественным симпатиям. Тут в сложной игре страстей, классовый консерватизм Барнава сказывается во всем своем стоическом упорстве, напоминая нам далекого Барнава 1788 года, цеплявшегося за одряхлевшие остатки парламентской „конституции“.

Но мысль Барнава, вернее, вся его индивидуальность не хочет оставаться в этом фатальном кольце, где нет движения вперед, где начало неизбежно сливается с концом, а конец с началом... Он ищет выхода из этого тупика, куда сам же завел себя, и находит его в идее сильной власти, в человеческой самостоятельности и относительной свободе, могущей предписывать свою волю непокорным фактам²⁾.

Так под влиянием минутной слабости, отдаваясь на волю своих чувств, Барнав покидает твердый грунт действительного хода событий и отдает свою дань пессимистической вере в неизбежное круговращение жизни, в однообразно повторяющиеся *corsi e ricorsi*, в вечное топтание человечества на одном месте. Но безрадостное разочарование так чуждо его душевной организации, что он скоро преодолевает его, преодолевает слишком естественную слабость человека и снова становится пытливым наблюдателем быстро несущегося потока жизни, дающего не одни горести, но и радующего неожиданным счастьем.

Барнав довел свои мемуары до 10 августа; он описал, таким образом, происхождение нового режима, воплотившегося в конституции 1791 года, ее установление, борьбу за нее, прелюдии новой революции и, наконец, падение монархии. „Здесь“, говорит он, „начинается новая серия фактов“, описать которые еще не наступило время³⁾.

¹⁾ Oeuvres... II, 25.

²⁾ Oeuvres... II, 42 — 43.

³⁾ Oeuvres... II, 46.

⁴⁾ Oeuvres... II, 50.

¹⁾ Oeuvres de Barnave. I, 148 — 150.

²⁾ Oeuvres... I, 150 — 152.

³⁾ Oeuvres... I, 218 — 219.

С каким же чувством кончает Барнав свои мемуары, каков окончательный приговор его над революцией? Для людей в положении Барнава, из героев революции попавших в число ее жертв, было только два исхода — или отвергнуть революцию и уйти в духовную эмиграцию, или же принять революцию такой, какая она есть, во всей фатальной непреложности ее законов. Барнав был временами, как мы видели, близок к первому решению мучительной проблемы. Но как осторожный либерал, он сделал попытку наметить некоторый средний путь, остановиться на „золотой середине“. Демократическая волна, под влиянием которой зашевелились народные массы — парижский пролетариат — помешала буржуа Барнаву „принять“ революцию целиком. Как политик он застыл на полдороге, попытавшись остановить революцию, когда последняя еще только началась. Барнав не захотел понять фатальной предопределенности великих социальных переворотов, и прорвавшийся революционный водоворот безвозвратно поглотил его...

Вот почему при окончательной оценке революции обычная неустрашимость мысли покидает Барнава, его охватывает беспокойное раздумье, он колеблется, и приговор его раздваивается между осуждением и оправданием.

Вот что записано им под 1792 годом:

„Какое огромное пространство пройдено в эти три года, и как мы все еще далеки от желанной цели. Мы глубоко вспахали землю и нашли новые плодородные пласты, но сколько подняли вместе с тем удушливых испарений! Сколько талантов в отдельных лицах, сколько мужества в массе; но как мало в то же время настоящих характеров, спокойной твердости, а в особенности истинной доброты!“

Добравшись до своего домашнего очага, я часто задавал себе вопрос, стоило ли его вообще покидать; и мне нужно несколько подумать, чтобы ответить на этот вопрос, настолько настоящее положение, созданное новым собранием, подрывает силы и энергию. Однако, стоит немного подумать, как убеждаешься, что, что бы ни произошло, мы все же не сможем перестать быть свободными, и что главные злоупотребления, разрушенные нами, уже более не

вернутся. Как много нужно испытать несчастья, чтобы забыть такие преимущества! ¹⁾

Жорес утверждает, что в конце жизни Барнав испытал „нравственную агонию“, при чем его слабая душа, повидимому, не выдержала обрушившегося на него удара судьбы ²⁾. Это голословное утверждение не подтверждено никакими фактами. Нам остается проверить его по документам, относящимся к последним месяцам жизни Барнава, когда „агония“ естественно должна была сказываться сильнее.

Революция 10 августа имела грозные последствия для Барнава. Переписка, найденная в разгромленном дворце, недвусмысленно изобличала Барнава и его друзей в сношениях с двором и министрами. Этого было достаточно, чтобы Собрание декретировало отдачу Барнава под суд и немедленный его арест ³⁾. Барнав был немедленно арестован у себя в деревне, ночью, во избежание столкновений с местной национальной гвардией, которой он командовал. Затем его перевезли в Гренобльскую тюрьму. После десяти-месячного пребывания в тюрьме родного города комиссар Конвента Дюбуа Крансе переводит Барнава в крепость Барро (Bargeaux). Это открывает серию тюремных скитаний Барнава, когда его по приказу всемогущего Конвента переводят из одной провинциальной тюрьмы в другую, пока осенью 1793 года, в самый разгар террора, после более чем годичного пребывания в заключении, его привозят в тюрьму Аббатства, а оттуда в Консьержери ⁴⁾.

Заметим, что во время этих тюремных страданий Барнаву не раз представлялась возможность бежать, скрыться у друзей и эмигрировать за границу. Но он каждый раз отклонял от себя эти планы, стоически предпочитая испытать чашу до дна. С другой стороны, друзья не переставали стучаться в двери влиятельных членов Конвента, пытаясь добиться освобождения Барнава. Наконец, Дантон, с присутствием ему великодушием, намекнул, что Конвент смягчит

¹⁾ Oeuvres... I, 220.

²⁾ Jaurès. La Constituante, p. 374.

³⁾ Обвинительный акт был заслушан 26-го августа и принят 29-го. Oeuvres... I, CXXII M. t. XIII, 431, 541.

⁴⁾ Notice historique... I, CXXXV — CXXXIII; M. t. XVIII, 365, 472.

участь Барнава, если последний сам письменно обратится к нему. Барнав и на этот раз разрушил все старания близких, категорически заявив: „Просить у них справедливости, но это значило бы признать все их предыдущие деяния, а ведь они убили короля. Нет, я предпочитаю пострадать и умереть, чем хоть в чем-нибудь повредить своей моральной и политической репутации¹⁾“.

До нас дошел также ряд писем Барнава к друзьям и власти имущим, принимавшим близкое участие в его судьбе. Особенно интересны его письма к Буасси д'Англа и „проект петиции в Национальный Конвент“ с просьбой нарядить судопроизводство по его делу²⁾.

И что же, во всех этих письмах заключенный с большим достоинством разбирает документы, послужившие Конвенту материалом для обвинения, поясняет, каким образом и при каких условиях он и его друзья давали советы министрам, и ни на йоту не отрекается от своих убеждений, как они ни звучали в разрез с господствовавшими настроениями, особенно в петиции к республиканскому Конвенту³⁾. Жорес, повидимому, не потрудился заглянуть в эту переписку, иначе он воздержался бы от фраз о моральной агонии.

Но приведем еще одно доказательство — предсмертное письмо Барнава к сестре, оставшейся в Гренобле, помеченное 13 ноября 1793, в Дижоне, на пути в Париж, где его ждал суд революционного трибунала. Это последний подлинный документ, дошедший до нас от Барнава, сложившего свою голову под ножом гильотины 9 фримера II года республики единой и неделимой (29 ноября 1793 г.)⁴⁾.

Это письмо, которое можно считать завещанием Барнава, дополняет нам его моральный облик новыми ценными чертами. Тонкий психолог, опередивший свой век, Барнав с поразительным самопроникновением зарисовывает наспех свой духовный образ перед тем, чтобы навсегда исчезнуть и стереться в памяти даже самых близких. „Я еще молод, и однако я уже узнал, я уже испытал все радости и го-

рести, из которых состоит человеческая жизнь. Одаренный живым воображением, я долго верил химерам; но я освободился от них, и теперь, когда я готовлюсь проститься с жизнью, единственно, о чем я желаю, это — дружба (ибо никто больше меня не испытал ее сладости), и та культура духа (*la culture de l'esprit*), привычка к которой наполняла мои досуги самым приятным образом“.

„Но, быть-может, в моей душе,—продолжает свою исповедь Барнав,—слишком много деятельного начала, а в моем характере слишком сильны импульсы, чтобы я мог удовлетвориться этими чистыми благами. Я выработал в себе философские взгляды и знаю, что такое ложные ценности (*des faux biens*); но у меня слишком много горячности в мыслях, чтобы я мог вполне отдаться истинным благам; и я чувствую, что как-раз в этой непреодолимой наклонности духа и кроется вечная преграда между моим стремлением к счастью и самим счастьем“¹⁾.

Все, что мы знаем о духовной личности Барнава, освещается этими словами. Именно „деятельное начало души“, „активность“ (*activité*) и увлекли этого консервативного по духу и осторожного по темпераменту человека в круговорот революции. Волевые „импульсы“ такой натуры не могли оставаться в поле одного сознания и властно требовали своего претворения в кипучей жизни. Не удовлетворить их значило бы духовно умереть и не осуществить нравственного призвания. Философские идеи Барнава, выработанные, как мы увидим, в атмосфере исторических фактов, позитивно обоснованные и осторожно взвешенные, не могли не отставать от эмоционального порыва личности, иногда заводившего Барнава туда, где он вовсе не хотел быть, толкавшего его на такие поступки, о которых он, минуту спустя, горько жалел.

Но поищем „агонии“, о которой говорил Жорес. Вот, что пишет он в предвидении своей последней минуты: „Смерть—ничто. Чем больше я вглядываюсь в нее, тем больше я убеждаюсь в этом не только разумом, но и чувством. В настоящее время это моя привычная идея, с ко-

¹⁾ Notice historique, I, CXXVII — CXXIII.

²⁾ Беранже сгруппировал все эти документы в отделе, озаглавленном: *Fin de Barnave. Oeuvres...*, t. II, 305.

³⁾ *Oeuvres...*, II, 323 — 325; 332 — 340.

⁴⁾ *M.*, t. XVIII, 544. 549.

¹⁾ *Fin de Barnave. Oeuvres...* II, 342.

торой я так спокойно и тихо сжился, как-будто бы, подобно другим людям, я наблюдаю ее издали¹⁾.

Эти простые слова внушили Сент-Бёву мысль сравнить предсмертное письмо Барнава с последними минутами древних стоиков. И действительно, Барнав напоминает эти античные тени и слова, приписываемые Диогеном Лаэртцем Эпикуру: „В жизни нет ничего страшного для того, кто знает, что нет ничего страшного в лишении жизни“²⁾.

Впрочем и в письме, последнем письме к сестре, оставшейся вдали, активное начало души перевешивает в Барнаве склонность к отвлеченностям. Большая часть его посвящена трогательным советам остающимся здесь, на жизненной стезе. Барнав дает указания, как нужно создать прочную семью, как воспитать будущих детей, как распорядиться остающимся имуществом³⁾. Невольно вспоминаешь то далекое письмо 18-летнего Барнава к сестрам-подросткам, где он им дает советы научиться вышивать супружеские жилеты, не увлекаться литературой, этим дьявольским навождением, и культивировать в себе домашние добродетели. Словно вчера Барнав писал его, так похожи эти советы человека, стоящего у гробовой доски, на менторскую позу буржуазно-добродетельного юноши из Гренобля.

Эти отеческие заботы снова сменяются словами утешения, обращенными на этот раз не только к остающимся, но и к уходящему. Усилием духа Барнав поднимается на какую-то заоблачную высоту и с нее созерцает свой земной конец:

„Мои дорогие, надежда, что вы достигнете счастливого существования, украсит мои последние минуты, наполнит мое сердце. И если по ту сторону жизни это чувство будет еще существовать, если можно вообще там помнить раз покинутое здесь, то мысль об этом будет самой сладкой для меня. Пусть память обо мне мало-по-малу станет нежной без того, чтобы быть печальной. Вообразите, что я в далекой разлуке, что я не страдаю и что, если бы я мог

чувствовать, я был бы счастливым и довольным, лишь бы вы только ощущали то же самое“⁴⁾.

Сент-Бёв говорит, что в словах Барнава звучит чувство „домашней чести и семейной религии“ (*l'honneur domestique et la religion de la famille*). Я не думаю этого. Последние слова Барнава не оставляют сомнений в его метафизических убеждениях: Барнав умирает в философской вере, но не в религии, о которой говорит Сент-Бёв. Если он и затрагивает вопрос о загробной жизни, это звучит простым утешением тем, кто сохранил еще „семейную религию“; Барнав снисходит до уровня понимания своих близких и старается говорить их языком, чтобы не омрачить святость этих последних минут расставанья. Итак, Барнав умер, как и жил, „философом“, эпигоном материалистической мысли рационалистического века, своеобразно претворенной в его исторических произведениях.

Обрисовывать эту сторону его идей и составляет задачу последующих глав.

¹⁾ Fin de Barnave. Oeuvres..., II, 342—343.

²⁾ *Epicurus*. Diog. L. X, 125.

³⁾ Fin de Barnave. Oeuvres..., II, 343—344, 346.

⁴⁾ Fin de Barnave. Oeuvres., II, 345.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Историко-философские идеи Барнава.

Die Geschichte aber haben wir zu nehmen, wie sie ist: wir haben historisch, empirisch zu verfahren; unter anderem müssen wir uns nicht durch die Historiker vom Fach verführen lassen, denn diese... welche eine grosse Autorität besitzen, machen das, was sie den Philosophen vorwerfen, nämlich *a priori* Erfindungen in der Geschichte.

Hegel, Werke, IX-er Band, 14.

ГЛАВА I.

Барнав и философия XVIII века.

Подойти к изучению исторических взглядов Барнава лучше всего путем уяснения себе места, которое он занимает в развитии философских идей своего века. Барнав сам дает нам именно этот метод изучения своего историко-философского миросозерцания, говоря: „изучение истории должно предваряться знаниями в области политических наук, а последние не могут быть усвоены без предварительного познания морального человека (*l'homme moral*)“¹⁾.

Следуя влечениям своего наблюдательно-скептического ума, Барнав довольно рано занял по отношению к „философии“ критическую позу. „Став между самим собой и философскими книгами, которые я исправлял, я был склонен считать свой век проникнутым здоровой метафизикой, но опыт разубедил меня в этом“²⁾. Далее мы увидим, насколько далеко шли те „исправления“, которым подверг Барнав философские системы, теперь же укажем, что к концу 1791 года критическое отношение Барнава к философии сменяется разочарованием в ней под влиянием происходящих событий. Философские искания и достижения просветительного века представляются ему каким-то разрушением ради разрушения. Раньше Жозефа де Местра и Сен-Симона, почти одновременно с эмигрантом Шатобрианом он указывает на односторонний рационализм ее построений. Он рисует перед собой образ „тщеславного философа“, который „с топором в руке“ врубается в чашу

¹⁾ Oeuvres de Barnave, t. IV, p. 7.

²⁾ Etudes sur l'homme. Oeuvres, III, 41.

предрасудков и „там ломает, не рассуждая, с закрытыми глазами, все что ему попадает под руку“ ¹⁾.

Настроение, в котором он пишет, ясно чувствуется в следующих словах: „поток глупостей окружает нас и увлекает нас за собой. Столько ложных примеров, столько похвал в угоду жалким вещам, столько ошибочных мнений, и в то же время столько презрения к малейшему проблеску великих и плодотворных идей обуревают и охватывают нас, что мы вопреки самим себе усваиваем вздор, и здравые мысли, приходящие нам в голову, подавляются, забываются и оскорбляются, как благородный человек, одетый в чуждый и бедный костюм“ ²⁾.

Барнав предъявляет целый ряд обвинений своим бывшим учителям.

„Философская секта, по его мнению, отличается педантичностью, умозрительной гордыней, черствостью сердца, злоупотреблением теории, реформаторским и новаторским духом без достаточных знаний и понятий“.

„Видя предрасудки людей, замечая смутные источники их знаний, философы все объявили предрасудками, опрокинув всякий авторитет во мнениях“.

Беспрерывно рекомендуя наблюдение над природой, они сами неизменно уклонялись туда, куда ведет как-раз недостаточность наблюдения. Заблуждение, почти неизбежное при спекулятивных занятиях,—философы исключительно начинают оперировать своими же собственными понятиями; но и то, что они действительно знают, доставляет слишком мало пищи деятельности ума ³⁾.

Порой ему начинает казаться, что науки в своем развитии клонятся к неизбежному упадку; особенно это касается „познания морального человека“, т.-е. живой личности, связанной с государством и обществом; последнее скорее потеряло, чем выиграло со времени первых философов и поэтов Греции. Мы, правда, превзошли их во всем, что касается приложения наук к практической жизни, но в философии „мы имеем общественный договор вместо всех

позитивных идей греческих политиков, и определения Гельвеция занимают у нас место изречений Сократа“ ¹⁾.

В сущности это—„полу-философия“ (la demi-philosophie), которую Барнав считает необходимым исправить. На смену этой полуфилософии должна прийти истинная философия, на которой лежит долг восстановить все то, что неразумно сброшено со своих пьедесталов ее предшественницей ²⁾.

Отсюда делаются понятными результаты умозрительной односторонности философской секты, выражающиеся в двух категориях явлений, с которыми одинаково должна бороться истинная философия: во-первых, в „безграничном умножении всякого рода философских систем“, гипертрофии философской спекуляции за счет знания „позитивных законов“ (lois positives); во-вторых, „порождения различных метафизических безумств (toutes ces folies métaphisiques) магнетизма, мартинизма, религиозного энтузиазма“ ³⁾. Отметим здесь же, что в момент, когда, действительно, чаща общественного настроения, пресытившись умозрительной и рассудочной спекуляцией, стала склоняться к сентиментально-мистическому энтузиазму, отметившему своим пышным расцветом закат просветительного века, Барнав, почувствовав этот психологический сдвиг, отгораживается от него, как от „безумства“, и встает под защиту своих „позитивных законов“.

С высоты их он произносит свой приговор и над отдельными философами. Барнав начинает с „фернейского патриарха“.

„Поверхностный и рассеянный ум, он никогда ничего не углублял, но считал себя вправе судить обо всем, плохой философ и плохой метафизик, неосновательный историк, поверхностный ученый во всем, чего он ни касался“ ⁴⁾. К тому же Вольтер безвозвратно устарел, „теперь он показался бы“, говорит Барнав, „просто человеком с предрасудками“ ⁵⁾.

¹⁾ Barnave. Etudes sur l'homme. Oeuvres..., III, 2—3.

²⁾ Oeuvres... III, 39. Это место удивительно напоминает мысли и слова Абри де Сен-Симона.

³⁾ Oeuvres... IV, 103.

⁴⁾ Oeuvres... IV, 271—272.

⁵⁾ Oeuvres... III, 38.

¹⁾ Oeuvres de Barnave, III, 39, 45.

²⁾ Etudes sur l'homme. Oeuvres, III, 42.

³⁾ Oeuvres... IV, 101—102.

В Мабли он, прежде всего отмечает одностороннюю привязанность к политическим идеям древних и отрицательное отношение к современным политическим и экономическим теориям. Барнав не может отказать Мабли в широте реформаторских замыслов, солидности в обосновании своих идей и в благородстве основных принципов, тем не менее он улавливает внутренний консерватизм писаний Мабли сквозь оболочку их словесного радикализма ¹⁾.

Однако он не забывает упрекнуть Мабли за его расплывчато-сухой бесцветный стиль и скучную манеру изложения. Ей он противопоставляет „поэзию, стиля“ у Гельвеция, хотя последний и представляется ему большим метафизиком, чем Мабли ²⁾.

Вдумчивая чуткость Барнава в его отношении к умственному движению своего времени лучше всего сказывается на его оценке дела Жан-Жака Руссо. Едва ли кто из руссоистов, не исключая пламенную m-me Сталь, так хорошо проник в духовный образ скорбного философа из Женевы, как это сделал Барнав. Как ни старался Барнав отгородить себя от доктрин этого „метафизика“, как ни нападал он на его теории с трибуны Национального Собрания, тем не менее, и он не уберется от влияния этого проникновенного ума. Это сказывается и в сдержанной страстности Барнава, и в порывах сентиментального натурализма, посещавшего его в юные годы, и в тонком предчувствии каких-то новых горизонтов и настроений, шедших в разрез с самодовольной беспечностью философов.

И, тем не менее, Барнав не стал руссоистом и пошел по другому идейному пути, сблизившему его с поколением младших учеников материалистической школы.

Барнав великолепно понял, чем был Руссо в умственном движении века. „Он“, по словам Барнава, „поддержал права чувства и ослабил рост эгоизма, бесчувственности и нравственной низости, а также безрелигиозности; ибо он стал защищать религию такими доводами, не одобряя которые, приходится сказать, что они были из числа тех немногих,

которые могли получить успех в этом веке...“ ¹⁾. „Но в то же время он во многом повредил воспитанию, разгорячил не мало юных голов, и, благодаря ему, многие, которые без него были бы только глупцами, стали безумцами...“ ²⁾. Барнав не забывает отметить, чем собственно действовал Руссо на умы, в чем заключался секрет его обаяния: „у него был чудодейственный талант, бесконечным запасом идей, софизмов и чувств соблазнять умы и сердца: из него вышел бы превосходный проповедник, великолепный адвокат, непреодолимый искусситель“ ³⁾.

Напротив, Дидро кажется Барнаву не более, как „болтливым энтузиастом“. Он сомневается в научных достоинствах той работы Дидро об „Интерпретации природы“, которая пользовалась заслуженным успехом в энциклопедических кружках. Барнав осуждает в книге Дидро как-раз то, что последний всего более ценил в ней, а именно метод. „Дидро горяч, чувствителен и энтузиаст“, говорит Барнав, „он понимает тему, но чувствительный человек подменяет в нем философа, и тогда Дидро начинает прославлять, порицать в тот самый момент, когда нужно только рассуждать. Он дает уроки изучения природы, а сердце его произвольно примешивает туда уроки добродетели“ ⁴⁾. Отсюда поверхностность анализа, невыдержанность метода, поспешные выводы, заявляемые с пророческой уверенностью ⁵⁾. Так же судит Барнав и о других произведениях главы энциклопедистов, отмечая его проповеднический прозелитизм ⁶⁾. Невольно вспоминается здесь пушкинский „треножник“, на который садился Дидерот и „проповедывал“.

От Дидро Барнав переходит к аббату Рейналю и Сеп-Ламберу. Оба они в сущности плоть от плоти того материалистического кружка, который объединял в уютном салоне „мадам Гельвесиус“ Даламбера, Кондильяка, Франклина, Кондорсе, Гольбаха, Вольнея, Шамфора, Гара, Кабаниса, Женгенэ и других. Рейналь представляется Барнаву

¹⁾ Oeuvres... IV, 269—270.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Oeuvres... IV, 269.

⁴⁾ Oeuvres... IV, 272—273.

⁵⁾ Oeuvres... IV, 118.

⁶⁾ Напр. о Traité du Beau... Oeuvres de Barnave, IV, 273.

¹⁾ Oeuvres... IV, 280—281.

²⁾ Oeuvres... IV, 281.

„плодовитой головой“, большим эрудитом, легко входящим во все идеи, необыкновенно суггестивным писателем. Но в то же время Рейналь нетерпеливый энтузиаст, он не останавливается на внимательном рассмотрении, „он верит первым своим наблюдениям, каждую минуту ошибается и заблуждается, торопится формулировать общие выводы, вдается в упрощенные и обобщенные спекуляции, всегда гениальные, часто поучительные, но не продуманные и нуждающиеся в исправлениях трезвого ума“ ¹⁾. Философия Рейналя кажется Барнаву „прекрасной и обильной“, он признается, что книги Рейналя увлекали его „в пучину своих умозрений, хотя и бросали иногда в океан сомнений“ ²⁾.

Не менее восхищался Барнав и другим учеником энциклопедистов, маркизом Сен-Ламбером. В его поэме „Времена года“ Барнав находит не только высокие художественные достоинства, но и философский смысл, который он вполне разделяет ³⁾. „Поэзия стиля“ Гельвеция, которую Барнав противопоставляет сухой напыщенности Мабли, воскресает для него в этой работе Сен-Ламбера, выдвинувшегося в ряды философов своим „Опытом о жизни и трудах Гельвеция“, предпосланным поэме „О счастье“, посмертном произведении талантливого генерального откупщика.

Барнав своеобразен и капризен в своих оценках как философии, так и философов своего века: то его приговоры как-будто напоминают слова Гегеля о „разрывающем и разорванном сознании“ просветительного века ⁴⁾, и он произносит бесповоротное осуждение всему умственному движению своего времени, то приговоры его смягчаются, он начинает нападать на частности и защищать что-то дорогое ему, общее, роднящее его с Гельвецием, Рейналем, Сен-Ламбером; из хулителя философов он как-будто снова становится их последователем и адептом, на котором лежит священный долг бережно сохранить тот неугасимый светоч разума, который был зажжен усилиями их ума и воли.

¹⁾ Oeuvres. IV, 278—279.

²⁾ Oeuvres. IV, 126

³⁾ Oeuvres. IV, 285

⁴⁾ Hegel Phenomenologie des Geistes. Werke, B. II, 380—384; 397—398.

* * *

Руссо однажды высказался, что необходимо изучать людей по обществу, а общество по людям. Социология XVIII века преимущественно пошла по второму пути, предложив изучать „общество по людям“, т.-е. от физических и моральных свойств человека, объединяемых несколько смутным понятием его „природы“, восходить к законам общественной жизни, при чем самая „природа“ человека понималась настолько своеобразно, что для нас требуется некоторое усилие воображения, чтобы встать вровень с этим основным понятием теоретизирующей мысли XVIII века. Классическое определение человека и его „природы“ дал философ-революционер Вольней, сотоварищ Барнава по Учредительному Собранию: „понятие индивид“, говорит он, „означает человека, рассматриваемого *изолированно* от всякого другого“ ¹⁾. При этом слово *isolément*—*изолированно*—вовсе не значит, что Вольней верил когда-нибудь в существование изолированного человека-одиночки, пребывающего в дообщественном состоянии. Все значение этого определения заключается в том, что Вольней выражает здесь бесспорную для общественной науки XVIII века истину, а именно, что индивид в конечном счете представляет собой ту неделимую дальше единицу, простая сумма которых должна образовать общество со всей его своеобразностью. Индивид-особь представлял таким образом самодовлеющую монаду, раз на всегда данную, обладавшую возможностью творить весь окружающий мир по образу и подобию своих идей — *opinions*. Такая личность не поддавалась воздействию исторической среды, общества, класса, среди которых она жила, но зато обладала моральной силой изменять по своему желанию эту самую среду. Даже Гельвеций, рассматривая влияние на человека положительного права, не мог возвыситься до понимания взаимодействия между нравами и законодательством, при котором законы не только обуславливают нравы, но и сами формируются под влиянием последних. Руссо пробовал возразить против этого атомистического взгляда, указывая, что человек вовсе не

¹⁾ Volney. La Loi naturelle, p 271, курсив наш.

песчинка в общественном море, что „существо чувствующее не может быть только телом“¹⁾; впрочем, и Руссо высказывался так скорее в защиту духовной сущности человека, чем против абстрактного представления о личности. В своей социологии он не отступает от обычного взгляда на человека, как на самодовлеющую песчинку, и дает методологический совет „обобщать наши взгляды и выделять абстрактного человека“²⁾. Итак, мы видим, что, несмотря на различные уклонения то в сторону материализма, то в сторону идеализма, человек, как отвлеченная единица, находится в центре познания общественной жизни и является главным, чуть ли не единственным, двигателем истории.

Барнава с самого начала не удовлетворил этот упрощенно-схематический взгляд на человека; в познании как физических, так и моральных его качеств он увидел задачу, стоящую перед философией; в игнорировании ее — слабую сторону этой самой философии. Люди кажутся ему необыкновенно сложными существами, разгадать которых тщетно пытаются философы. Тысячи мотивов сталкиваются в их душах, множество идей мелькает в их сознании, самые разнообразные страсти волнуют их сердца. И в то же время эта душевная жизнь или, как выражается Барнав, „моральная конституция“ (*constitution morale*) у мужчины не та, что у женщины; более того, она изменяется у одного и того же человека с возрастом и годами. Одну гамму аффектаций мы находим у юноши, другую у зрелого человека. Все способности человека, не исключая и разума, подвергаются постоянным изменениям с самого младенческого возраста, и потому задача воспитателя заключается в равномерном и одновременном их развитии. С этой точки зрения взгляд Барнава на детей и постановку воспитания диаметрально противоположен Руссо³⁾.

Барнаву кажется, что должна существовать наука, которая опытным путем дойдет до установления закономерной связи между моральными и физическими свойствами человека, т. е. между психическими и физиологическими

проявлениями его души¹⁾. Так осторожно и робко Барнав постулирует необходимость новых для своего времени наук — психологии и физиологии — и важность применения в сфере их опытно-наблюдательного метода, раскрывающего всю сложность духовной жизни индивида. Поэтому и мир психических переживаний не сводится у Барнава к одной чистой физиологии; он опасается смешать момент происхождения явления с его содержанием и ценит в человеческой психике богатое поле для наблюдения и исследования²⁾.

Подходя к человеку со стороны его душевных свойств, Барнав отдает решительное предпочтение разуму перед чувством. Это и немудрено для ученика материалистов, задавшегося целью „исправить“ их труды. Разум — единственный путь познать мир таким, каков он есть. Разум одинаково хорошо направляет человека и в теории, и в практике, и в познании, и в морали. Вообще же определить эту способность в человеке можно, как „искусство правильного выбора“³⁾. Последнее звучит вполне в духе сенсуалистической гносеологии аббата Кондильяка, верным учеником которой является тут Барнав⁴⁾. Вооружившись ею, он кое-где пытается исправить слишком прямолинейного Гельвеция. Он согласен с ним, что человек является результатом воспитания; но прибавляет, что и *повседневный опыт чувствования*, практическая будничная работа является не менее надежной руководительницей человека, чем педагогические системы⁵⁾.

Человек, учит Барнав, руководствуется в своем поведении двумя вожжами — инстинктом и разумом. Первый естественного происхождения и создается привычкой; он определяется чувственным опытом, а не размышлением; напротив, разум рождается на почве науки и размышления и ведет человека сообразно выработанным принципам⁶⁾.

¹⁾ Ibidem, p. 21.

²⁾ Ibidem, p. 14—15.

³⁾ Oeuvres... III, 29—30.

⁴⁾ Ср. его рассуждения о внимании — *attention* (Oeuvres... III, 30) с тем, что говорит об этом Кондильяк в своем знаменитом *Traité des Sensations*. Oeuvres philosophiques de l'abbé de Condillac, t. XVIII, 13—14, 386—389 и др.

⁵⁾ Oeuvres... III, 31.

⁶⁾ Etudes sur l'homme, III, 4.

¹⁾ Rousseau. Emile, p. 327 (note). Edition Garnier.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Etudes sur l'homme, III, 18—19.

Пока Барнав остается на почве гносеологии, он послушно применяет положения Кондильяка к объяснению различных явлений, но когда от человека он переходит к обществу, он оставляет у себя только метод учителя и рассуждает совершенно свободно. Положительно видишь, как мышление этого человека было создано не для гносеологических проблем, а для проблем социологических. Итак, мы видим, что человек разумно действует согласно некоторым началам, принципам. Но спрашивается, откуда берутся самые эти принципы совсем своим содержанием? Барнав указывает, что содержание этих принципов независимо от воли отдельных лиц вырабатывается обществом, и каждый заимствует те из них, которые отвечают его склонностям и вкусам: „каждый идет широкой социальной дорогой, но в ней выбирает тот путь, который лучше всего согласуется с его индивидуальной походкой“ ¹⁾).

Отсюда естественно напрашивающийся вывод, что мораль не представляет собою каких-то незыблемых раз установленных скрижалей, начертанных где-то там вне общественного человека. Большинство людей видит нравственное и разумное только в том, что нравится им. Предвидя возражения идеалистов, Барнав соглашается, что люди иногда действуют по идеальным мотивам; тонко разбираясь в психологии, он предвидит, что такой случай может представиться, но в то же время он утверждает, что подобное забвение своего прямого и самого близкого интереса занимает весьма незначительное место в сердцах людей; „такие порывы существуют, правда, но редко они достигают такой энергии, чтобы стать причинами великих событий“ ²⁾. Так осторожно и последовательно изгоняет Барнав моральные оценки из области той науки, которая изучает как-раз причины великих событий. И в этом отношении он далеко оставляет за собой своего учителя Кондильяка: последний никогда не мог возвыситься над взглядом, рассматривавшим историю, как моральную наставницу и учительницу, призванную судить дела рук человеческих. В этом отношении Кондильяк-

историк делает шаг назад даже перед Боссюэтом ¹⁾. Бесстрашный диалектик в области теории познания, Кондильяк обнаружил удивительную робость и постную умеренность в сфере истории. Не без влияния, вероятно, оказалось и то обстоятельство, что тут он имел против себя не пылкую m-lle Ферранд, а „его высочество“ принца Пармского.

Вместе с материалистами Барнав повторяет, что наслаждения и страдания, выливаясь в форму различных потребностей и интересов, определяют мотивы человеческого поведения, которые сами по себе не являются ни хорошими, ни дурными. „Нет почти ни одной вещи, нравственный вес которой не был бы относительным“ ²⁾, говорит он, и далее развивает свою мысль: „и в людях, и в вещах оказывается всегда некоторое смещение добра и зла, проявляющееся в разнообразных комбинациях, с которыми мы не всегда считаемся в наших оценках; заметив однажды добро или зло, мы бываем склонны полагать, что все является добром, или, наоборот, все является злом“ ³⁾.

Но если материалисты типа Гольбаха или Вольнея, исходя из относительного принципа, каким является интерес или польза, тем не менее в развитии своих систем приходили к абсолютному благу большинства, который проповедывали с фанатическим упорством, то Барнав в своих взглядах является релятивистом от начала до конца: исходя из относительных начал, он приходит опять-таки только к относительным началам. В нем нет утилитарного прозелитизма Гельвеция или догматизма барона Гольбаха, и потому он остается равнодушным к той части их моральных доктрин, которая содержит применение утилитарного принципа к общественной жизни. Барнав решительно уклоняется от реформаторства в общественной жизни и, на пути теоретических занятий историей, приходит к необходимости систематизировать всю сумму человеческого знания и понять его логическую связь. Исходная предпосылка была при этом та же самая, которая руководила творцами знаменитой

¹⁾ Oeuvres... III, 5.

²⁾ Oeuvres... III, 36.

¹⁾ Cours d'étude par l'abbé de Condillac. Oeuvres, t. XVI, Ch. I. Que l'histoire doit être une école de morale et de politique.

²⁾ Etudes sur l'homme... III, 133.

³⁾ Oeuvres . III, 134.

„Энциклопедии“ Дидро и Даламбером — единство человеческого знания и единство проникающего его метода.

Поразительные успехи в сфере точных наук, пользующихся безошибочными методами наблюдения и логической дедукцией, сулили новые достижения ума при единственном условии их применения ко всему объему человеческого знания. Вопрос был поставлен ребром и относительно общественной науки: в частности, история могла войти в систему наук о законах общественной жизни или остаться навсегда бесформенной массой фактов о прошлом человечестве. Развитие истории, как известно, пошло по первому пути, и единство естественно-научного метода было распространено на весь объем человеческого знания. Даламбер в предисловии к „Энциклопедии“, в сознании всей важности предпринимаемого дела, писал следующие строчки, которые в сущности резюмируют переход истории на лоно естественно-научных дисциплин: „познать природу мы можем надеяться не посредством смутных и произвольных гипотез, а путем внимательного изучения явлений, сравнивая их между собой и помощью искусства — по возможности сводить большое количество явлений к одному, которое могло бы рассматриваться, как принцип... Это сокращение и составляет истинный дух систематизации“¹⁾. Вот этот-то дух систематизации и увлек за собой Барнава.

Интерес к методологическим вопросам и попытки установить связь между отдельными науками несомненно сближают Барнава с знаменитым геометром. Совершенно согласно с ним Барнав говорит: „Внимание человека сначала останавливается на индивидах, затем на родах, наконец на видах (individus—genres—espèces). С основания пирамиды он восходит к вершине, чтобы затем снова опуститься, обозреть и изучить интервалы... сначала мы наблюдаем за изолированными проявлениями природы, затем на их основании мы образуем общие правила; наконец уж, мы подразделяем, изменяем и различаем эти общие прин-

ципы; таким образом создается система знания (un corps de science)“¹⁾.

Натуралистический позитивизм настолько владеет Барнавом, что он идет дальше Даламбера: „Знание едино,— провозглашает он, — существует общее знание (la science générale), отдельные науки только дополняют друг друга. Разделения между ними проявляются только в системах знаков (signes), т.-е. высших символов, употребляемых для выражения понятий“²⁾. Науки представляются Барнаву стройными „системами предметов“ (les systèmes des êtres). „Всякий, кто проникает в системы предметов, замечает, каким образом они взаимно связаны, друг друга касаются, взаимодействуют и сосуществуют. То, что люди познали в системе предметов (du système des êtres), они выражают при помощи „систем знаков“³⁾. И Барнав, предваряя научный энтузиазм апостола позитивизма, восклицает: „Какая великая истина, что все истины связаны и взаимно учат друг друга!“⁴⁾.

При построении своей *системы предметов*, т.-е. классификации наук, Барнав имел перед собою опыт Даламбера с „энциклопедическим древом наук“. Нам предстоит теперь выяснить, в каком отношении это дерево стоит к „системе“ Барнава.

Пользуясь мыслью канцлера Бэкона, Даламбер в своей иерархии наук исходит из психологического признака, полагая, что разные отрасли „души“ порождают и различные науки; а так как душа представляется ему в виде некоторых интеллектуальных способностей — памяти, рассудка и воображения, то и вся система знаний распадается у него на три разряда: „историю, относящуюся к памяти, философию, являющуюся плодом рассудка, и изящное искусство, создаваемое воображением“⁵⁾.

¹⁾ Oeuvres... IV, 20.

²⁾ Oeuvres de Barnave, IV, 293—294.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Oeuvres... IV, 13. «Нужны принципы (Il faut des principes), категорически заявляет Барнав, ибо только они помогают упорядочению знания, приводят его в систему, облегчают усвоение». IV, 295.

⁵⁾ D'Alembert. Discours préliminaire... Русское издание, стр. 124—125.

¹⁾ D'Alembert. Discours préliminaire de l'Encyclopédie. Пользуясь переводом И. А. Шапиро, русское издание речи Даламбера в «Родоначальниках Позитивизма». Вып. I, стр. 108.

Слабость классификации Даламбера была отмечена еще его современниками; ее искусственность особенно бросается в глаза при рассмотрении места, занимаемого в ней историей. Последняя представляется Даламберу собранием фактов, относящихся вообще к прошлому; связь между ними мыслится им только как хронологическая последовательность, так как хронологически можно рассматривать любое собрание фактов, будь то история государств или история сапожного ремесла. Собственно история и не наука, а хронологическая регистрация материала, инвентарь событий, пестрый калейдоскоп фактов, относящихся к тому, что необходимо для какой-нибудь цели *помнить*; весь этот хаотический материал — особого рода сырье, идущее на переработку в философских жерновах. Наука начинается только с философии, в которой проявляется активная сторона „души“ — рассудок. „Нет почти ни одного предмета, воспринятого чувством, из которого размышление не сделало бы науки“, следовательно, и факты исторические подлежат ведению этой универсальной науки¹⁾.

Барнав в своей „системе“ наук исходит также из априорного начала, но отбрасывает классификацию на основании душевных свойств человека. Этим он прежде всего предвосхищает иерархию положительных наук Огюста Конта, начавшего с критики классификаций Бэкона и Даламбера²⁾.

Как известно, Конт в своей иерархии наук отводил совершенно особое место для математики; она является для него не столько составной частью философии природы, сколько методологической подготовкой к этой самой философии; он ценил в ней „могущественное орудие“ при исследовании законов естественных явлений, так как она „представляет собою распространение логики на определенный отдел дедукций“³⁾. Место математики в „системе предметов“ Барнава занимает „метафизика“. Нас может с первого взгляда удивить такое предпочтение, если к тому же вспомнить, как Барнав неустанно громил метафизику и метафизиков с трибуны Конституанты. Но под метафи-

зикой Барнав понимает в данном случае *знание принципов или общих истин*; наблюдение над природой открывает нам сходные стороны между различными явлениями, сводя задачу метафизика к изучению общего в многообразии, постоянного в текучем, принципиального в частных¹⁾. „Метафизика предметов (*La métaphysique des êtres*)“ раскрывает и объясняет их причины, побуждения, мотивы, проявления, одним словом, характеризует их дух. Глубокая и здоровая *философия фактов* ведет к метафизике“²⁾.

Итак, для Барнава метафизика прежде всего — абстрактная и синтетическая наука о фактах во всех сферах единой природы. Но Барнав предупреждает, что не всякая абстракция является метафизикой и что их не нужно смешивать между собой. „Философия фактов“ прежде всего характеризуется совершенством своего метода; в этом как раз нащупывает Барнав слабое место у современных ему метафизиков: „абстракция у них бесконечно суживает природу, она всегда стремится свести ее к тому углу зрения, под которым рассматривает ее“³⁾.

Такое понимание метафизики характерно, впрочем, для всего энциклопедического кружка. Начнем с его основателя Даламбера. В своих „Опытах об элементах философии“ он присваивает науке, обозначаемой под этим названием, общее методологическое содержание; давая краткий обзор человеческого знания, он начинает с метафизики, как с наиболее общей и абстрактной науки, затем переходит к физике и морали, и т. д.⁴⁾. Для Кабаниса, младшего представителя этой школы и друга Мирабо-революционера, „истинная метафизика“ заключается в „знании метода“. „Со времени Локка, Гельвеция и Кондильяка, — говорит он, — метафизика является только наукой о способах мышления, изложением правил, которым должен следовать человек в изыскании истины, касается ли это исследования нас самих или имеет своим предметом существа или внешние тела, с которыми мы можем иметь отношения. Мета-

¹⁾ Oeuvres IV, 286—287.

²⁾ Ibidem.

³⁾ Oeuvres, IV, 290.

⁴⁾ D'Alambert. Oeuvres philosophiques, historiques et littéraires, t II, p. 20—43.

¹⁾ Даламбер, указ., соч., стр. 155—157.

²⁾ Aug. Comte. Cours t I, урок 2-й.

³⁾ Aug. Comte. Cours Урок 2-й

физика одинаковым образом прилагается к наукам физическим и наукам моральными, и к искусствам ¹⁾). Барнав принадлежит к тому же поколению философов-революционеров, вышедших из левого, материалистического кружка энциклопедистов, что и Кабанис, поэтому и для него метафизика мыслится, как обобщающее знание о методах, которое в наше время обозначают то как логику наук, то как общую методологию. В конечном счете — это синтетическая теория познания, ибо Барнав говорит, что для него является бесспорной истиной „та связь фактов, восходящая к самой высокой метафизике, которая делает из последней обобщающее и упрощающее знание, откуда вытекают все другие частные науки ²⁾).

Следующее место занимает в „системе“ Барнава естественная история и общая физика. Эти науки заключают в себе изучение „физического человека“ и являются посредствующим звеном при переходе от изучения методов и принципов к изучению более сложного объекта „морального человека“ ³⁾). Познание „физического человека“ предполагает знакомство с той естественной сценой, на которой проявляются его наклонности, т.-е. изучение „физической географии“ и даже основных „космогонических гипотез“ ⁴⁾). Напомним, что и Даламбер понимает под физикой вообще естественную историю, биологию, зоологию с ботаникой, наконец, то, что мы можем назвать начатками физиологии ⁵⁾).

Тут уже вступает в силу новый метод подхода к явлениям, обозначаемым Барнавом, как опыт, наблюдение, в отличие от „рассуждения“ ⁶⁾).

После того, как почва подготовлена изучением „физического человека“, мы переходим к системе наук, обозначавшейся под именем морали. Этой области наук XVIII век придавал настолько же большое значение, насколько

¹⁾ *Cabanis*. Lettre sur perfectibilité, письмо, помещенное им в журнале «Декады» 30 жерминаля VII года, напечатано *F. Picavet* в приложениях к своему труду об «Идеологах», р. 512.

²⁾ *Oeuvres...* III, 13.

³⁾ *Oeuvres...* IV, 7—8.

⁴⁾ *Ibidem*.

⁵⁾ *D'Alambert*. *Oeuvres philosophiques...* II, 28, 41—42.

⁶⁾ *Observations sur le cours des études, sur la manière d'enchaîner et de combiner les connaissances*. IV, 7—14.

XIX век сознательно пренебрегал ею. Она включала в себя не только этику, но философию и политику права. Современники и духовные отцы Барнава полагали, что это самая точная из всех наук после математики. Даламбер, несколько не увлекаясь, писал: „Мораль, быть-может, самая полная из всех наук как относительно тех истин, которые лежат в ее основе, так и относительно той связи, которая существует между этими истинами. Все в ней основано на единственном авторитете фактов...“ ¹⁾. Великий математик противопоставляет блестящее состояние этой науки „туманностям физики и естественной истории“ ²⁾, свидетельствуя собой ту непреклонную веру в силу разумной очевидности универсальной морали, при помощи которой предреволюционный век твердо решил реформировать общество. В таком понимании мораль выходит за пределы науки о должном и становится психологией нравов, этнологией, изучающей объективно данные условия общественной жизни, позитивной наукой о сущем.

Барнаву оставалось только следовать за этими положениями при изучении „морального человека“. Но он не ограничился этим и указал на необходимость разграничения морали „массовой“ (*de la masse*), т.-е. коллективной, и морали индивидуальной (*de l'individu*); как ни несовершенно было такое деление с точки зрения социологии, тем не менее, в этом различении мы видим первый шаг в направлении изучения коллективной психологии ³⁾).

Система наук моральных предваряет изучение наук политических. „Предметом (последних) является изучение общественных связей (*les liens des corps politiques*), их происхождения и развития; анализируя, она исследует природу массы (толпы); представляя разнообразные проявления индивида, она изучает обстоятельства и причины этих изменений“ ⁴⁾. Переводя выражения Барнава на язык наших терминов, мы видим, что политика для него является наукой, изучающей постоянные и необходимые законы существования человеческих обществ, их происхо-

¹⁾ *D'Alambert*. *Oeuvres philosophiques...* t. II, 43.

²⁾ *Ibidem*.

³⁾ *Oeuvres...* IV, 10—

⁴⁾ *Oeuvres...* IV, 8.

ждения и эволюции. Впрочем, Барнав не ограничивается чисто теоретическим интересом к этой науке, вполне в духе своего времени он присоединяет сюда практическую политику или искусство управления „для достижения общего блага, которое изменяется сообразно времени, месту и обстоятельствам“. „Законодательство, — говорит он, — не что иное, как знание управления, взятое в его деталях, т. е. часть политики. Тот, кто схватит дух законов, сможет изучить позитивные законы, подобно тому, как хороший лингвист усваивает языки“ ¹⁾.

Философия фактов, как и следовало ожидать, завершается у Барнава историей, как самой частной, самой сложной и самой конкретной наукой. Предметом ее является изучение отдельных государств и народов, к которым может относиться: история управления, отдельных институтов, установлений, языка, литературы, нравов и т. д. ²⁾.

Выделение истории в особую науку выгодно отличает „систему предметов“ Барнава как от „энциклопедического древа“ Даламбера, так и от иерархии наук Огюста Конта. Если у Даламбера история просто исчезает в бесформенной грудке сырого материала и является только достоянием пассивной памяти, то у Конта она целиком покрывается социологией, стирающей неповторяемую индивидуальность живого исторического лика мертвящей априорной схемой, приготовленной по рецепту естественно-научных определений. Барнав стоит посредине между двумя этими крайностями, знаменуя собой определенный момент в развитии философского синтеза, которому пора отвести должное место в истории идей.

Приходится сожалеть, что опыт классификации наук Барнава дошел до нас, так сказать, в сыром виде; Барнав нигде не систематизировал своих положений, он оставил после себя грудку листков и отрывков, на которых торопливо и небрежной рукой нанесены отдельные мысли и наблюдения. Беранже собрал их и поместил в разделе „литературных набросков“ своего героя.

Прилагаемая таблица подводит итоги под изученными мыслями Барнава об иерархии наук и стремится представить их, так сказать, в догматическом виде:

Система наук Барнава.

[Примечание: В квадратных скобках поставлены науки в современной привычной терминологии, существование которых Барнав постулирует в своей системе].

- I. *Метафизика*. Знание принципов, общих истин, относящихся к различным „системам предметов“ [Логика наук и методология. Теория познания]. Метод — рассуждение.
- II. *Естественные науки и физика*. Космогония. Астрономия. Физическая география. Изучение „физического человека“ [Биология, физиология, зоология, ботаника]. Метод — опыт и наблюдение.
- III. *Мораль*. Массовая и индивидуальная мораль. [Этика и философия права. Психика нравов. Этология]. Метод — наблюдение.
- IV. *Политика*. Изучение постоянных и необходимых законов человеческих обществ. Происхождение и развитие обществ. Изучение действующего законодательства — „духа законов“ [Генетическая социология, социальная статика и динамика. Государственное право и политика права]. Метод — наблюдение.
- V. *История*. Изменение отдельных обществ и государств; переходящие явления общественной жизни исторических народов: учреждения, формы быта, язык, литература и т. п. Метод — наблюдение.

Конечно, много, очень много можно возразить против подобной классификации наук, особенно имея в виду Контовскую иерархию, проведенную на основе принципов возрастающей сложности, частности и актуальности. Барнав не дорос до догматической аккуратности проповедника

¹⁾ Oeuvres. . IV, 8—11.

²⁾ Oeuvres. . IV, 12.

позитивизма; нетрудно заметить, что его „система“ страдает и непоследовательностью, и произволом, и пробелами,—вина тут, конечно, не в нем, а в том еще сравнительно младенческом состоянии, в котором все еще пребывали целые отрасли знания в его время; тем не менее, и в классификации Барнава, несмотря на всю ее неуклюжесть, пробивается здоровая методологическая идея, и именно, что нужно начинать исследование с самых общих или самых простых явлений, переходя затем к самым частным, т.-е. к самым сложным явлениям. Это правило провозглашалось Барнавом не только в теории, но, как мы увидим ниже, применялось им к самой толще явлений общественной жизни. •

Нам остается подвести итоги сказанному и определить место Барнава в философии XVIII века. Своих современников Барнав особенно сильно упрекал в односторонности и исключительности взглядов, причины которых он усматривал в личных побуждениях, не имеющих ничего общего с наукой ¹⁾).

Сам Барнав ни в коем случае не заслуживает этого упрека, скорее он *эклектик*, и *эклектик сознательный*. Он усердно впитывает в себя всю философию XVIII века, но, как некий Иаков, противоборствует с ней, самостоятельно перерабатывая то ее течение, которое пыталось сознательно отнестись к переживавшемуся отрезку исторического процесса и понять его закономерную неизбежность.

Если принято обозначать *идеологами* то поколение мыслителей, которые и во время революции остались верны идеям Просвещения, Барнав несомненно идеолог, и таким он оставался до конца. Так же, как его соседи по скамьям Учредительного Собрания, Сьейес, Вольней, Редерер, Дюпон, Дестютт де Траси, Мунье,—Барнав исходит из материалистической философии Гельвеция, Гольбаха и Рейналя, которую перерабатывает при помощи гносеологии аббата Кондильяка.

Но, будучи учеником Монтескье в политике, последователем Кондильяка в теории познания, сторонником утилитарной морали Гельвеция и Гольбаха, Барнав вырабатывает свою собственную рациональную систему человеческого

знания, опережая глубиной анализа энциклопедическое древо Даламбера и предвосхищая позитивную классификацию наук Конта. Позитивист до рождения позитивной философии, Барнав—необходимое звено в цепи мыслителей, мечтавших об организации человеческого рода через организацию человеческого знания ¹⁾).

¹⁾ Приходится отметить, что имя Барнава не упоминается ни в ряду предшественников Конта, ни в ряду представителей революционной философии конца XVIII века. Что это так, об этом свидетельствуют работы *Дамирона*, *Юбервега*, *Куно Фишера*, *Литтре*, *Фулье*, *Ренуве* и др. Барнав, как философ, изучается нами впервые. Даже *Пикаве* в своей классической книге, посвященной *идеологам* (*Fr. Picavet. Les idéologues* Paris. 1891), не находит среди них места для Барнава по той простой причине, что ничего не знает об его философских сочинениях. Не упоминает о нем ничего и Альбер Кейм в своей книге о Гельвеции, подробно проследившая судьбу материалистической доктрины на переломе от XVIII к XIX веку (*Helvétius, sa vie et son œuvre par Albert Kéim*. P. 1907. Ch. XXII, Destinées de l'œuvre d'Helvétius, p. 601).

ГЛАВА II.

Физическая интерпретация истории.

В век всеобщего увлечения и веры Барнав писал: *La méfiance de l'esprit mène à la vérité*, т.е. философское недоверие порождает истину¹⁾; в век, метафизически веривший в скорое торжество разума и часто в своем увлечении не различавший должного от сущего, он предостерегающе настаивал на праве факта... Позитивный историзм был той философской основой, на которой сложилось у Барнава материалистическое понимание истории. Нам предстоит теперь проследить, каким образом, под какими влияниями, в какой исторической атмосфере складывались основные элементы этого мировоззрения, выразившиеся в окончательном синтезе на страницах „Введения во Французскую Революцию“.

Автор „Духа законов“ всегда выделялся Барнавом из шумной толпы „философов“. Подобно тому, как Робеспьер вдохновлялся афоризмами Жан-Жака, так и Барнав всегда черпал из богато-пестрой сокровищницы идей Монтескьё. Барнав находил у него „вернейшее, богатейшее и глубочайшее чутье вещей“, подражал, насколько мог, „его краткой и сжатой манере развивать какую-нибудь теорию“, преклонялся перед его „возвышенным воображением“²⁾. Чем больше Барнав вчитывался в Монтескьё, тем больше он сознавал, что для понимания этого писателя требуется огромная умственная подготовка. Барнав оставил нам любопытный „План изучения истории“ (*Plan d'étude de l'histoire*).

¹⁾ Oeuvres de Barnave, III, 9.

²⁾ Oeuvres... IV, 93, 113, 125.

Если Жан-Жак стремился сделать из своего воспитанника прежде всего человека, то Барнав, напротив, хотел сделать его историком, или, вернее, исторически мыслящим человеком. Для этой цели он составил краткий конспект того, как, по каким пособиям и в каком методологическом порядке необходимо приобретать исторические знания¹⁾. И тут мы видим, что первый исторический труд, который Барнав рекомендует для серьезного изучения истории, это знаменитые „Размышления о величии и упадке римлян“²⁾. По словам Барнава, это пробный камень для всякого начинающего, и по тому, насколько последний осилит и оценит эту работу, можно судить, что из него вообще выйдет³⁾. Что касается изучения самого „Духа законов“, Барнав предполагает допустить к нему только после того, как молодой человек приобретет солидную историческую подготовку—познакомится с античными историками, вчитается в средневековые анналы и уяснит себе „противоречия, которые волнуют современное общество“. Но и этого мало: адепт должен основательно познакомиться с историей французского права, государственных учреждений, освоиться с хартиями и ордонансами и тогда вторично сесть за „Дух Законов“, проверяя каждую его ссылку, раскрывая каждый намек⁴⁾.

Из этих дидактических указаний для нас становится ясным, какую огромную работу проделал сам Барнав над этим классическим произведением своего века, как глубоко проникнул он в мысли своего учителя и какое огромное значение в его развитии имел „Дух законов“ Монтескьё.

* * *

Максим Ковалевский был склонен усматривать в некоторых положениях Монтескьё марксистское зерно. Я не думаю этого, но если Маркс дал классическую *экономическую*

¹⁾ Oeuvres de Barnave, t. IV, 250—262.

²⁾ Montesquieu. *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence*.

³⁾ Pierre de touche d'un jeune homme! s'il en est ennuyé, je m'en méfie; s'il le goûte, il y a du fond; s'il le dévore, il sera homme d'esprit; s'il le savoure, il peut atteindre l'auteur—Oeuvres... III, 256.

⁴⁾ Oeuvres... IV, 256—261, 262.

интерпретацию истории, то Монтескьё дал не менее классическую *физическую* интерпретацию ее. К последней мы и обратимся, так как она во всей своей полноте была усвоена и применена Барнавом.

В основе мысли, что в географической среде, в природе, взятой в самом широком смысле этого слова, нужно искать определяющих и предопределяющих моментов исторической эволюции, лежит убеждение, разделявшееся передовой мыслью XVIII века, что все проявления общественного человека подлежат изучению при помощи единого естественно-научного метода. Натуралистический подход к истории оказался результатом методологического монизма на почве непрерывных успехов точных наук. Этот результат отразился и на XIV книге „Духа законов“, посвященной „законам в их отношениях к свойствам климата“. Необходимо, впрочем, отметить, хотя это и повторялось не раз, что теория „климата“ не всегда органически связана с общей конструкцией труда Монтескьё, где политическому фактору отведена куда более значительная роль. Теория климата у Монтескьё скорее придаток к его обычному пониманию истории, где политические учреждения обуславливают собою развитие или упадок—вырождение общества.

В лице Барнава мы видели принципиального сторонника исторического натурализма, включающего историю в разряд опытных наук. Вполне естественно, что его прежде всего увлекла у Монтескьё теория климата, которой он отвел должное место в своей исторической работе ¹⁾.

В связи с этим важно остановиться на одном факте, который обычно опускался из виду при обсуждении вопроса о значении „географического фактора“ в истории. Во всякой теории, претендующей объяснить историческую эволюцию из физических и географических основ, важно не столько то, что историческая жизнь определяется естественной средой, так как последнее утверждение по своей очевидности не более, как трюизм, а то, каким *способом* эта самая среда действует на людей. Природа, конечно, может влиять на расположение духа, на настроение человека и тому подобное, но это как-раз такой момент, который

меньше всего интересен с социологической точки зрения; природа чаще всего и с большим постоянством предопределяет способ, коим люди принуждены удовлетворять свои насущные потребности. Первое было ясно еще Монтескьё, второе мы находим у него только в зачаточном виде. У Монтескьё центр тяжести лежит в доказательстве, что климат влияет на психику человека. По этому поводу он высказал не мало любопытных соображений. Так, брачный институт затворничества женщин на востоке он объяснял климатом, повышающим страстность в мужчинах. Общественное состояние рабства, чаще всего наблюдаемое на востоке, он приписывал „малодушию народов жаркого климата“, между тем, как „мужество народов холодного климата“ обуславливало их свободолюбие ¹⁾.

Эта мысль Монтескьё получила всеобщее признание в XVIII веке и пользовалась необыкновенной популярностью. Она казалась первым достижением науки в результате применения естественно-научного метода к общественной жизни человека. Особенно интересны ее применения у аббата Рейналя, который пытался объяснить климатом и строением земной поверхности целые философские и религиозные системы. Так, дуалистическое начало в манихизме он приписывал влиянию резких перемен температуры воздуха в Индостане. В этом отношении Рейналь предвещает многие из остроумных домыслов Бокля ²⁾. Но Монтескьё не ограничил себя этими психологическими выводами, как ни казались они ему непогрешимыми. Он раздвинул рамки применения своего метода. Обрисовав общую географию и климатические условия Азии и Европы, Монтескьё говорит: „все сказанное нами согласуется с событиями истории“ ³⁾. Последнее утверждение уже обязывало к многому, и Монтескьё начинает рисовать, каким образом орошение, культура почвы, иначе говоря, человеческий труд и его организация могут определять политическое устройство. „В странах плодородных“, говорит он, „чаще всего встречается

¹⁾ Монтескьё О духе законов Перевод под редакцией Горнфельда, со вступительной статьей М. М. Ковалевского Другие примеры: кн. XIV, XV, XVI, XVII и XVIII.

²⁾ Raynal Histoire philosophique et politique, t. I, 41—42.

³⁾ О духе законов. Гл. 3 и 4, кн. XVII.

⁴⁾ Introduction à la Révolution Française, в особенности Ch. VIII и XI.

правление одного, а в странах неплодородных—нескольких... Бесплодная почва Аттики породила там народное правление, а на плодородной почве Лакедемона возникло правление аристократическое¹⁾. Далее он уясняет свою мысль в следующих словах: „Законы находятся в очень тесном соотношении с теми способами, посредством которых народ добывает себе средства к жизни. У народа, занимающегося торговлей и мореплаванием, законы должны быть многочисленнее, чем у народа, довольствующегося возделыванием своих земель. Они должны быть многочисленнее у земледельческого народа, чем у народа, живущего скотоводством; и они должны быть многочисленнее у этого последнего народа, чем у того, который живет охотой“²⁾.

Так робко и ощупью пробивается мысль о том, что известного рода „общественное производство“ обуславливает определенные политические установления³⁾.

Уже Роберт Флинт на основании этих заявлений Монтескьё считал себя в праве сказать, что „Дух законов“ ввел в историческое знание экономический элемент и оказал этим неоценимую услугу науке, несмотря на всю спутанность представлений в экономических вещах“⁴⁾.

В лице Барнава все эти мысли Монтескьё нашли благоприятную почву и дали первый толчок искать тайну исторического процесса не в учреждениях или „мнениях“ людей как это делало большинство его современников, а в экономических отношениях, связывающих людей в общество.

Мы видели, что Барнав советует ранее изучения „политической географии“ ознакомиться с „географией физической“. И на этом пути он имел замечательного предшествен-

ника, которым был Тюрго. Этот талантливый экономист и администратор мог бы сделаться не менее талантливым историком. Построение всемирной истории занимало Тюрго всю жизнь; еще во время своего пребывания в Сорбонне он замыслил большую работу „*Sur la géographie politique*“ — „О политической географии“, от которой остался однако только один план.

„Политическая география“ Тюрго выдвигала вопрос о роли естественных факторов в истории человечества. Наряду с обычными упоминаниями о влиянии климата, почвы, расположения, Тюрго включал в географические условия „разнообразные производства“ и способы сношений между народами¹⁾. По его представлению, политическая география должна была состоять из двух частей—теоретической и позитивной или исторической. Первая, теоретическая часть и должна была изучать роль географических условий в общественной жизни, так как земля является театром всех человеческих действий“²⁾.

Из этой мысли исходит и Барнав, когда в своем „Введении во Французскую революцию“, разбирая относительное значение различных исторических факторов, он считает одним из главных—„землю, на которой обитает человек“³⁾.

В отличие от Монтескьё и его школы Барнав усматривает в естественно-географических условиях *самостоятельную* историческую силу, имеющую длительное и постоянное значение на ряду с другими моментами, обуславливающими развитие общества. Это первичная сила, предопределяющая характер удовлетворения материальных потребностей человека. Поэтому его мало интересует, как природные условия влияют на человеческую психику, его внимание поглощено тем, чтобы уловить, в какие условия она ставит людей при добывании жизненных средств, и какие возможности она предоставляет для этого. Мы видели, что подобное понимание роли исторических факторов встречается и у Монтескьё, главным образом, в „Духе законов“, но там оно носит слу-

¹⁾ О духе законов. Кн. XVIII, гл. I.

²⁾ О духе законов. Кн. XVIII, гл. 8, а также гл. 10.

³⁾ См. также главу 14 той же книги, где прямо трактуется о связи между производством и политическими формами: «Народы, не занимающиеся земледелием, пользуются большей свободой, так как, не занимаясь возделыванием земли, они несколько не связаны с нею». Я несколько не закрываю глаза на то, что Монтескьё нередко начинает морализировать, так он делает, например, когда рассуждает, что деньги порождают несправедливость, а потому является необходимость в хороших гражданских законах. Кн. XVIII, гл. 15 и 16. Здесь совершенно иная связь фактов, чем в вышеприведенных местах, и тот, кто не различил бы этого, несомненно, сильно ошибся бы.

⁴⁾ R. Flint. Philosophy of History in Europe. Vol. I, 106.

¹⁾ *Oeuvres de Turgot*, ministre d'Etat, précédées et accompagnées de Mémoires et de Notes sur sa Vie, son Administration et ses Ouvrages. Paris, 1808, t. II, 166—169.

²⁾ *Oeuvres de Turgot*, t. II, 169.

³⁾ Introduction... *Oeuvres...*, I, 3.

чайный характер и не всегда связано с остальным строем идей. Барнав, напротив, проводит свою точку зрения на роль естественной среды через все свои построения и в этом отношении делает несомненный шаг вперед сравнительно со своим учителем.

Указывая, что различные причины могли ускорять или замедлять эволюцию собственности, Барнав говорит: „Но самой могущественной силой в этом отношении было, конечно, географическое положение различных стран; смотря по тому, насколько оно призывает народы к торговле и мореплаванию, сближает их между собою и остальным миром, постольку могла развиваться и демократическая власть. Напротив, чем больше это географическое положение изолирует народы, привязывает их к земледельческим работам и обрекает их на ужасы войны, тем позже народ почувствует свою силу и узнает о своих правах“ ¹⁾.

В зависимости от географического положения (situation géographique) все европейские государства делятся Барнавом на: внутренне-территориальные государства и государства внешне-морские. Последняя классификация является для него не простой географической номенклатурой, а имеет за собой внутреннее основание; для него это два социологических типа государств, различающихся между собой общественным укладом, экономической деятельностью, политическими учреждениями. Образцом первого типа является промышленная и демократическая Англия, образцом второго—сельско-хозяйственная и аристократическая Германия ²⁾.

В континентальных государствах, в силу чисто естественных условий, торговля и промышленность не могли развиваться, а вместе с ними не мог достичь власти и „трудлюбивый народ городов“; поэтому в государствах этого типа вся власть принадлежит полуфеодальной знати, аристократии, опирающейся на земельные недвижимые богатства. Упрекая своих предшественников, проглядевших эту связь между географическими условиями и формой политического властвования, Барнав говорит: „Я не представляю

себе, как весьма талантливые историки могли приписывать распри императоров с папами ту форму аристократической федерации, до которой развилась Германия в течение целого ряда веков; как-будто бы подобная ребяческая причина могла иметь здесь какое-нибудь значение! как-будто бы форма правления в Польше, где короли вовсе не вмешивались в дела церкви, не была той же самой природы, как и в империи, с той только разницей, что Польша, будучи государством еще более континентальным и в большей степени лишенным торговли, благодаря своему (географическому) положению, имела более слабые города и более совершенную аристократическую конституцию“ ¹⁾.

Итак, государства континентальные и без сообщения с морем обуславливают господство аристократии, которая усиливается по мере того, как страна занимает более изолированное и замкнутое положение. Вполне последовательно с этим Барнав указывает, что никакая „свободная конституция“ (constitution libre) не удержится в стране, в которой отсутствуют благоприятные естественные условия для развития „коммерции и навигации“ ²⁾. Италия, омываемая со всех сторон морями, должна была стать центром торговли и движимого капитала раньше других европейских стран. Таково же было положение ганзейских городов и республики Соединенных Провинций ³⁾.

Уже а priori можно ожидать, что всякое воззрение на историю, исходящее из материалистических предпосылок, должно учитывать влияние естественно-исторической среды, подобно тому, как всякая физическая интерпретация истории содержит в себе зерно исторического материализма. Это доказывается всей историей идеей Монтескье в XVIII веке и находит свое наиболее яркое подтверждение в только-что рассмотренных взглядах Барнава. В связи с этим интересно рассмотреть, какую роль отводит географической среде исторический материализм Маркса и Энгельса.

В одном месте „Капитала“ Маркс дает исчерпывающее объяснение по этому поводу. Прежде всего Маркс подтвер-

¹⁾ Introduction... Oeuvres I, , 81.

²⁾ Ibidem, I, 64—67, 68—74.

¹⁾ Introduction à la Révolution française. Oeuvres ., I, 65.

²⁾ Oeuvres de Barnave, I, 182.

³⁾ Introduction. I, 42—43; географическое положение Англии, I, 71, 73 Франция представляется Барнаву также морской страной, I, 75.

ждает здесь то, что указывалось и в более ранних его сочинениях, а именно, что естественные условия вполне самостоятельно „определяют“ производительность труда, т.-е. обуславливают выбор тех „средств производства, при помощи которых человек удовлетворяет своим материальным потребностям; отсюда вытекает, что, чем богаче и разнообразнее естественные условия, тем шире возможности для производственной деятельности человека“ ¹⁾).

Подобно Барнаву, Маркс равнодушен к тому, как природа влияет на человеческую психику, так как не это обуславливает поступательный ход истории; для него важно показать, где природа непосредственно соприкасается с человеческой деятельностью, создавая для нее определенные рамки, в которых она развивается уже самостоятельно в силу присущих ей внутренних сил. Поясняя мысль Маркса, Плеханов говорит: „Естественная среда становится значительным фактором исторического развития человечества не путем влияния на человеческую природу, а посредством влияния на развитие производительных сил“ ²⁾. Мы видели только-что, как Барнав, признавая всю важность „географического положения“, смотрит на него не более, как на сцену, на которой совершенно свободно от декораций разыгрывается историческая драма. В этом отношении Барнав стоит ближе к Марксу, чем к Боклю, переоценивавшему влияние природы на психику.

Естественные условия интересуют Маркса со стороны своего воздействия на общественную экономику, и вполне последовательно с этим он делит их на два класса: 1) „природные богатства *жизненных средств*“, т.-е. то, что природа дает человеку пассивно, и 2) „природные богатства в *средствах труда*“, т.-е. то, чем дарит человека природа при активной затрате его труда ³⁾. „При начале культуры“, говорит Маркс, „дает перевес первый род естественных богатств, при высшей степени развития — последний. Сравним, например, Англию с Индией, или, в древнем мире, Афины и Коринф с побережьями Черного моря“ ⁴⁾.

Но при всем сходстве в оценке относительного значения естественной среды, между взглядами Маркса и Барнава существует определенное различие. Маркс все время имеет в виду влияние природы на *производство*, т.-е. на экономическую сторону общественной жизни, тогда как Барнав учитывает влияние естественной среды на всю совокупность общественных отношений, определяемых понятием *собственности* вообще. Различие тут глубже, чем кажется на первый взгляд, и кроется в разных понимании динамики общественного развития. Чтобы оценить его по существу дела, нам необходимо будет прежде ознакомиться с социологическими воззрениями Барнава.

Влияние Монтескье не ограничивалось теорией климата. Помимо того, что оно обратило внимание Барнава на значение экономических явлений в истории, оно с ранних лет содействовало выработке в нем того строго объективного метода, того уважения перед фактом, как таковым, которое впоследствии заставило Барнава сказать: „наблюдательные умы (*les esprits observateurs*) главное свое внимание направляют на факты, приобретая отчетливое знание о ходе вещей; в своих работах для счастья человека они отвлекаются от невозможного и стараются доставить человечеству ту степень совершенства и тот род благополучия, на которые они считают его способным“ ¹⁾.

Тем не менее, Барнав не чувствовал себя удовлетворенным Монтескье: следы этого встречаются не раз на страницах его работ. Его не раз смущал покорный пессимизм многих изречений „Духа законов“: в них слышался чуждый Барнаву мотив: суeta суeta и всяческая суeta; все реки вливаются в море, все государства кончают деспотизмом. Однажды он попробовал опровергнуть учителя, веско заметив, что пессимистические выводы Монтескье объясняются тем, что „он рисует положение в различных странах Европы таким, каким оно было в момент, когда он писал, забывая, что такое положение не могло долго длиться, ибо оно держалось на силе мнения, не имевшего под собой солидного фундамента, так как монархия нуждалась в других границах и в поддержке других сил“ ²⁾.

¹⁾ Маркс. Капитал, изд. 1872 г., стр. 447.

²⁾ Г. В. Плеханов. Очерки по истории материализма, стр. 101.

³⁾ Маркс, *op. cit.*; курсив мой.

⁴⁾ Маркс. Ibidem. См. также Engels. Der Soz. Akademiker, 15 octob. 1895.

¹⁾ Oeuvres..., III, 10—11.

²⁾ Oeuvres..., I, 63.

Такое замечание было и справедливо, и проницательно. Президент Бордосского парламента безнадежно находился под обаянием античных историков, учивших о вечном круговороте человеческих судеб. Он верит в рок, ждущий рано или поздно все народы и все государства: всем им начертано из бедных и простых делаться богатыми, а от богатства бесславно кончать обнищанием и испорченностью ¹⁾).

Барнав, конечно, не мог удовлетвориться этой философией истории, ясно сознавая, что неподвижная величавость „Духа законов“ находится в кричащем противоречии со всем быстрым темпом исторической жизни, поднимавшей на своем гребне новый общественный класс — с новыми стремлениями и идеалами. Сама жизнь, казалось, опровергала старую теорию круговорота и властно толкала к новым попыткам философски осознать прошлое и родившееся из него настоящее.

Под влиянием школы философов, учивших прогрессу, Барнав постарался уяснить себе свои собственные историко-философские взгляды и в связи с этим задумался над теоретическими вопросами общественного развития.

ГЛАВА III.

Социология Барнава.

Пятидесятые годы XVIII в. кончались под знаком решительного кризиса старых историко-философских представлений и взглядов. Ни теория постоянного круговращения человечества, унаследованная от античных времен и подновленная увядающим гением позднего Ренессанса (Макиавелли, Гвичардини), ни цинично-равнодушный взгляд на историю, как на бессмысленное и бесконечное топтание на одном и том же месте, не могли удовлетворить общества, увлекавшегося естественно-научными достижениями своего времени, мечтавшего построить „физику нравов“, измерить точнейшими приборами человеческую мораль и дать единое „энциклопедическое древо“ знания. Старая историософия, по меньшей мере, казалась наивностью. Ей на смену шла новая концепция, в основе которой лежала простая до очевидности истина, что жизнь в своих многообразных проявлениях не стоит на месте и не идет вспять, а шаг за шагом продвигается к какому-то, порой неуловимому совершенству. К середине века идея прогресса имела уже многочисленных адептов, и, когда молодой Тюрго выступил в Сорбонне с двумя своими известными речами, 3 июля и 11 декабря 1750 года, он только более систематически изложил то, что казалось одинаково бесспорным для всех. Идея прогресса уже родилась и носилась в воздухе.

Впрочем, уже Вольтер пытался освободиться и от теории всемирного круговращения Макиавелли, и от теологического провиденциализма Боссюэта, и от пессимистических афоризмов Пьера Бэйля; в своих основных исторических

¹⁾ *Montesquieu* *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence* Ch I, а также вся III, где подробнее рассматривается постепенная гибель государства, благодаря порче нравов вследствие богатства немногих. Таким же настроением обвеяны многие из „*Lettres persanes*“.

трудах, в „Опыте о духе и нравах народов“, „Очерке века Людовика XV“, в замечаниях на историю Карла XII и даже в некоторых письмах Вольтер становится на путь философии прогресса, которой пришлось сыграть такую выдающуюся роль в исторических построениях XVIII века. Если Вольтер колеблется по вопросу о признании морального и умственного совершенствования человечества и часто высказывает по этому поводу невеселые мысли, то он не останавливается перед признанием материально-технического прогресса, наблюдаемого на всем протяжении эволюции известных нам обществ. Заканчивая свой „Опыт о духе и нравах“—первый эскиз культурной истории человечества, — он говорит: „теперь легко судить по изученной нами картине Европы от времен Карла Великого до наших дней, что эта часть света несравненно более населена, более цивилизована, более богата и просвещена, чем она была тогда, и что даже в этом отношении она превосходит римскую империю, если исключить отсюда Италию“¹); ниже, отмечая цветущее состояние Германии, Англии и Франции его времени, он приписывает его „промышленности (industrie des hommes), преодолевшей разрушительные наклонности людей“ (leur fureur).

Вольтер словно чувствовал и предвидел те методологические затруднения, которые встретит доктрина бесконечного прогресса человеческого рода при первой же попытке применения к конкретной ткани исторической эмпирии, а потому осторожно и тонко ограничивался указаниями на утилитарные достижения и успехи, где он чувствовал под собой твердую почву фактов²).

Сравнительно нетрудно было применить идею о будущей человечеству способности к бесконечному совершенствованию к истолкованию „успехов разума“, как это сделал Тюрго в своей второй речи; значительно сложнее обстояло дело с попыткой применить эту идею к истолкованию всей

истории человечества и, в частности, к истории происхождения общества. Тут во всей своей сложности вставал вопрос об отношении и взаимодействии различных сторон общественного развития, от решения которого зависело, какой окончательный вид получит история, как наука.

Тем не менее, философская школа, к которой принадлежал Тюрго, довольно рано занялась этой задачей и попыталась привести в стройный систематический порядок ту бесформенную массу анекдотов, порой забавных, а порой печальных, из которых состояло тогда три четверти знания о прошлом человечества.

Барнав выступил, как сознательная личность, уже тогда, когда „философия“ сказала все, на что она была способна. Подобно другим представителям своего революционного поколения, он инстинктивно, незаметно для самого себя усвоил ту оптимистическую веру в бесконечное совершенствование, которая не оставляла его в самые превратные минуты жизни. Из сферы личного мироощущения Барнав переносит доктрину прогресса в область науки об обществе и с помощью ее пытается оживить запас наблюдений, вынесенных прежде всего из пессимистических афоризмов „Духа законов“.

На этом пути Барнав встретился с социологическими построениями школы Кенэ и Тюрго, оказавшими решающее влияние на его собственные представления о ходе общественной эволюции. И под влиянием нового метода исследования явлений доктрина Монтескье в его руках теряет свою величавую неподвижность и приобретает черты учения о социальном развитии.

Барнав, тонкий и внимательный наблюдатель, видевший герцога Лярошфуко, Дюпона, обоих Кенэ, отца—знаменитого основателя школы, и его сына, так оценивает дело физиократов: „это были фанатики, сектанты, энтузиасты, без разбора стремившиеся применять ко всем обстоятельствам свои принципы, сами по себе великие и благородные“¹). В то же время он понимает значение этой „секты“, говоря: „ей мы обязаны переменой наших взглядов в области политической экономии, торговли, сельского хозяйства, фи-

¹) *Oeuvres de Voltaire* par M. Beuchot, t. XVIII, p. 488

²) Разбор взглядов Вольтера на прогресс см. А. Г. Вульфius Очерки по истории идеи веротерпимости и религиозной свободы в XVIII веке СПб. 1911 г. Отдел I, гл. 2, стр. 101—110, а также Р. Ю. Виппер. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественными движениями на Западе СПб. 1900, стр. 53, 55—59.

нансов и администрации¹⁾. И действительно, влияние физиократов чувствуется у Барнава всякий раз, когда он начинает трактовать экономические проблемы. Часто выводы, к которым он приходит, совершенно не в духе школы, но исходный пункт его рассуждений, его политическая экономия заимствована у „сектантов“. Рассуждая как-то о свободе торговли, Барнав с принципиальной точки зрения высказывается за свободную конкуренцию и ничем не сдерживаемую борьбу экономических сил, „все искусства совершенствуются путем соперничества“, говорит он в подкрепление к своему мнению; но тут же он предупреждает против „неосмотрительного энтузиазма“ экономистов и советует подходить к этому сложному вопросу с величайшей осмотрительностью²⁾.

Займствования простираются на самую терминологию экономических понятий. Барнав пользуется, например, для обозначения движимого, денежного капитала термином „движимое богатство“, *richesse mobilière*, который прежде всего мы встречаем в этом же понимании у Тюрго в его „Размышлениях относительно образования и распределения богатств“³⁾.

К этим непосредственным влияниям школы физиократов необходимо присоединить и косвенное влияние на Барнава той же доктрины, преломленной в учениях материалистов. До сих пор недостаточно отмечается тот факт, что и Гельвеций, а особенно Гольбах вполне разделяли экономическое учение физиократов, легко приспособляя свою утилитарную мораль к учению, что земля главная производительница всех общественных благ. К этим же воззрениям примыкали и младшие материалисты в роде Рейналя и Вольнея: они же оказали сильное влияние на экономические построения аббата Кондильяка.

Физиократы показали Барнаву всю важность экономических явлений как-раз в той области, где на них меньше всего обращали внимания, а именно в науке об обществе

и тесно связанной с ней политике. Но если для физиократов центр тяжести лежал в экономической доктрине, то Барнав применил их „метод“ к истории для объяснения причин основного факта истории нового времени—неуклонного и неустанного роста демократии и столь же неизбежного и фатального падения абсолютизма. Что касается материалистов, ни Гельвеций, ни Гольбах не сумели довести своего учения об интересе, как о главном двигателе человеческого поведения, до сколько-нибудь отчетливого понимания его роли в эволюции общества. Последнее обстоятельство с достаточной очевидностью было выяснено еще Плехановым в его этюдах о материалистах¹⁾. Не у них заимствовал Барнав свое учение о социальном прогрессе; основоположники материализма в XVIII веке если и оставались на идее совершенствования, то *последовательно* отмечали прогресс только в умственной сфере, как бесконечное накопление знаний и развитие человеческого сознания, обогащаемого повседневным опытом чувств. В такой постановке вопроса сенсуалистическое доказательство идеи прогресса у Гельвеция становится основным принципом и вполне согласуется с общим духом всей его системы²⁾.

Напротив, физиократы, а вслед за ними и Барнав исходят не из гносеологических предпосылок, а из опыта общественной жизни, стремясь доказать прогресс чисто эмпирическим путем. Материалисты, рассуждая теоретически, поступали на деле, как догматики-моралисты; физиократы, базируясь на истории, учили, как социологи и социальные реформаторы.

Идея постепенного и необходимого прогресса общественной жизни пробивается уже в первых речах Тюрго, относящихся к 1750 году. Говоря о „последовательных успехах человеческого разума“, Тюрго объясняет умственное неравенство различных первобытных наций неопределенным, но вполне объективным фактом—разнообразием окружающих обстоятельств; „неравенство обстоятельств“ обуславливает

¹⁾ Ibidem.

²⁾ Oeuvres... II, 210 — 211.

³⁾ Turgot. Oeuvres, édition de 1808. T. V, 54. Barnave. Introduction à la Révolution française. 1-ère partie, ch.V.

¹⁾ G. Plechanov. Beiträge zur Geschichte des Materialismus, Stuttg. 1896, passim.

²⁾ М. Гюйо. Мораль Эпикура, стр. 239.

у него неравенство умственное, а не наоборот, как обычно полагали в его время¹⁾. Далее момент разделения труда, приуроченный у него к земледелию, создает досуг, который, в свою очередь, дает возможность выкристаллизоваться особому слою людей, посвящающих свои избыточные силы на умозрение, на разработку отвлеченных понятий¹⁰⁾. Впрочем Тюрго не удерживается на этой объективной точке зрения и переходит к дифирамбам в честь гения, самодовлеющее развитие которого в дальнейшем наполняет всю историю человечества блеском своих открытий и изобретений³⁾.

Философское построение всемирной истории занимало Тюрго всю жизнь, как об этом свидетельствуют многочисленные черновики, наброски и планы, дошедшие до нас в его бумагах. Выше всех античных и новых историков он ставил Боссюэта за его умение связать историю в одно органическое целое путем рассмотрения всех перипетий всемирно-исторической драмы через призму единой философской идеи. Отбрасывая теологический провиденциализм Боссюэта, он ценил в нем широту замысла, грандиозность синтетического дара и гениальную односторонность его построения. Желая превзойти Боссюэта, Тюрго, в свободные от административных трудов часы, торопливо набрасывает „Рассуждение о всемирной истории“, в котором пишет, что история должна вскрыть влияние общих и необходимых причин, затем влияние частных причин и свободных поступков великих людей. „Он ставит своей задачей „проследить исторический порядок прогресса человеческого рода“⁴⁾. Этот „исторический порядок“ начинается с общества охотников, которое постепенно, путем приручения некоторых животных пород, переходит в общество пастухов. Экономические условия (плодородие почвы, относительно большая выгодность земледелия), побуждают пастухов сделаться ремесленниками. Разделение труда на этой стадии ведет к зарождению государства, которые всегда „создава-

лись стихийно“. На этом обстоятельстве Тюрго особенно настаивает, говоря, что не нужно думать, что люди „когда-либо добровольно поставили над собой господина“¹⁾. Стараюсь выдвинуть на первый план стихийность исторического процесса, его независимость от воли людей и их „мнений“, Тюрго оспаривает взгляды Монтескье о значении климата для объяснения причин неравенства цивилизации и находит, что выводы Монтескье „по меньшей мере поспешны и во всяком случае весьма преувеличены; они опровергнуты опытом“²⁾. Но решительное тяготение Тюрго к материалистическому пониманию истории сказывается там, где он ставит в зависимость „от различного состояния людей—охотничьего, пастушеского, земледельческого...“ различные ступени развития отдельных сторон духовной культуры³⁾. В другом месте Тюрго указывает, что дух равенства, царивший в античных республиках, зависел от торговли, так как „дух торговли предполагает существование права собственности, независимого от всякой другой силы, кроме силы законов“⁴⁾.

Этих примеров, полагаю, достаточно, чтобы видеть как слагался у Тюрго первый набросок схемы развития общества, и решительное предпочтение, которое отдавал он стихийным, фатальным и необходимым отношениям среди других сторон исторического процесса. Но теория общества в связи с происхождением общественных классов впервые отчетливо формулируется Тюрго только в его *«Размышлениях относительно образования и распределения богатств»* (1766). Здесь уже экономический момент выдвигается на первый план и своей эволюцией определяет появление тех или других общественных группировок.

Еще в своей *«Теории налогов»* (1760) Мирабо-отец формулировал экономические обоснования общества, утверждая,

1) Oeuvres de M-r Turgot. Paris, édition 1808, t. II, p. 56

2) Oeuvres de M-r Turgot, t. II, 57.

3) Oeuvres de M-r Turgot. t. II, 59, 63—64, 85, 87, 98.

4) Oeuvres de M-r Turgot, II, 212—213.

1) Oeuvres... II, 217—225.

2) Oeuvres de Turgot, t. II, 267.

3) «Tous ces arts dépendent beaucoup de l'état différent des hommes chasseurs, pasteurs ou laboureurs. Ces derniers ayant seuls pu avoir une population nombreuse, et ayant eu besoin pour diriger leur travail de plus de connaissances positives, ont dû nécessairement faire de beaucoup plus grands progrès». Oeuvres de Turgot, II, 212—213.

4) Oeuvres de Turgot, t. II, 232.

что, если земельная собственность лежит в основе истинной монархии, то торговые ресурсы являются основанием государств республиканских ¹⁾. Тот же Мирабо, полемизируя с публицистами, выдвигавшими учение, что законы и правительства создают общество, решительно заявлял, что интересы защиты собственности объединяют людей, образуют общества и учреждают правительства. „Правительства таким образом“, говорил он, „вытекают из собственности, а не собственность из правительства“ ²⁾. Это воззрение одинаковым образом высказывалось и другими представителями школы, даже такими умеренными, как Мерсье де ля Ривьер и Дюпон Немурский, коллега Барнава по Учредительному Собранию. ³⁾ Оригинальность социологии физиократов заключается в том, что в ней политические принципы вытекают из определенного общественного уклада, который, в свою очередь, зависит от экономического. Веллерс совершенно прав, когда утверждает, что у физиократов „политическое право“ (*droit politique*) покоится на „*droit économique*“ (экономическое право). ⁴⁾

В начале своих „Размышлений“ Тюрго прежде всего старается обосновать ту точку зрения, с которой он рассматривает общественные отношения. При этом он оговаривается, что исходит в своих рассуждениях не из моральных соображений, а из „физической необходимости“. Если экономическое первенство, говорит он, принадлежит в его системе сельскому производителю, то это первенство не чести или достоинства, а простой физической необходимости ⁵⁾. Исходным пунктом для его теории общества является факт разделения труда на почве экономической необходимости. Мы видим, что Тюрго вполне отличает объективную точку зрения экономиста и социолога от подхода моралиста и политика, решительно отмежевываясь от по-

следних. Его путь исследования—„путь необходимости, основанной на природе вещей“. Как и в более ранних социологических набросках, так и здесь пастушеский быт у Тюрго предшествует земельной собственности. „Вероятнее всего“, говорит он, „люди почти повсюду начали с пастушества и жили его продуктами прежде, чем перейти к более тяжелому земледелию“ ¹⁾. От охоты и рыбной ловли, самых примитивных способов добывания пищи, люди переходят к приручению животных и от бурной непоседливой жизни охотничьих народов—к „более мирному существованию народов-пастухов“ (*peuples pasteurs*). Менее бродячее состояние народов, зависящих от своих стад, представляет необходимую ступень хозяйственной деятельности, предвещающую наступление земледелия. Тюрго несколько колеблется по вопросу о первобытном аграрном коммунизме, который представляется ему в виде равномерного распределения земли в меру потребностей каждого. В конце концов, он допускает его, как гипотезу, настаивая, что „если это состояние существовало, оно не могло быть длительным“ ²⁾. Сомнения Тюрго в этом пункте более, чем понятны—школа Кенэ последовательно проводила индивидуалистический принцип и чрезвычайно подозрительно относилась ко всяким уклонениям в сторону коллективизма. Факт индивидуального труда, как обоснование собственности, подчеркивался во всей социологии физиократов. Из этих соображений исходит и Тюрго, характеризуя общество, в котором собственник является и земледельцем, охраняя своим личным трудом то, что составляет его потребительную норму. „К тому же“, говорит он, „в эти первобытные времена было достаточно земли, чтобы всякий желавший трудиться мог работать на самого себя и этим оправдывать свое право на владение землей“ ³⁾.

Дальнейший прогресс общества определяется двумя фактами, одинаково независимыми от частных желаний людей—ростом населения и земельным голодом. Общая историческая равнодействующая обеих этих сил ведет за собой рас-

¹⁾ *Mirabeau* La théorie de l'impôt, p 99—100.

²⁾ Цитирую по *G. Weulersse* y. Le mouvement physiocratique, t. II, p. 36

³⁾ *Mercier de la Rivière*. L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, t. I, ch. XX. *Dupont*, интересный отрывок из *Journ. Agriculture*, mars 1766, приводимый Веллерсом, t. II, 13.

● ⁴⁾ *G. G. Weulersse*, op. cit t. II, 38—39.

⁵⁾ *Réflexions sur la formation et la distribution des richesses* Oeuvres de M^r Turgot, t. V, p. 6.

¹⁾ *Réflexions* Oeuvres..., t. V, 58—59.

²⁾ Oeuvres t V, 2—3, 10

³⁾ Oeuvres t V, 10—11

кол общества на два класса: собственников земли и безземельных батраков. Собственники начинают постепенно, по мере повышения производительности земли, возлагать работу по возделыванию на наемных земледельцев. Здесь уже начинается свободная игра экономических сил, купля-продажа, обогащение одних на обнищании других. Таким образом собственники выделяются в особый класс от непосредственных производителей земных благ ¹⁾. Непосредственные производители обближаются у Тюрго с рабочим классом вообще, с „артизанами“, образуя более обширную социальную группу тех, кто вообще живет своим трудом. Ей противостоит такая же однородная масса—собственников, избавленных от необходимости трудиться лично ²⁾. Правда, рядом с этим у Тюрго имеется другая группировка общественных классов, в которой он повторяет традиционную классификацию школы, а именно—деление общества на классы производительный, наемный и располагающий своею собственностью ³⁾. Впрочем эта классификация не всегда разделялась самими представителями школы, нередко отходившими в своих работах от этой искусственной схемы. Укажу в виде примера хотя бы на отца знаменитого трибуна Мирабо, писавшего: „раз устанавливается собственность, она, как и все на земле, порождает злоупотребления, и неравенство состояний является ее необходимым следствием... Таким образом вся земля, которая принадлежит обществу, переходит в руки немногих, а вся остальная масса оказывается в некоторого рода зависимости от этих последних“ ⁴⁾.

У Тюрго мы наблюдаем определенное стремление поставить происхождение общественных классов в зависимость от усложнения хозяйственной жизни. Последняя же в силу необходимо совершающихся в ней процессов воспроизведения, обмена и распределения земных благ казалась отражением тех постоянных физических законов, которым вообще подчинена вся природа. Так обосновывал свою точку зре-

ния на развитие общества сам глава школы Франсуа Кенэ, подчеркивавший стихийность и независимость от воли человека явлений социальной жизни ¹⁾.

При этом явления экономического порядка определяли собой развитие явлений других категорий, так что „форма общества,“ как выражался Кенэ, зависела от того, как люди удовлетворяли свои материальные нужды. „В зависимости от условий пропитания“, говорит Кенэ, „вроде охоты, рыбной ловли, скотоводства, земледелия, торговли, грабежа образовывались нации дикарей, ихтиофагов, па-стухских, земледельческих и торговых народов, племена бродячие, варварские, живущие в шатрах или пираты“ ²⁾. Все последние перечисленные „формы обществ“ Кенэ считал впрочем „несовершенными“, незаконченными образованиями. Настоящее общество с классовой дифференциацией и политической властью появляется только при земледельческом производстве, ибо, по Кенэ, только „агрикультура является базисом для государственного строя и определяет самую его форму“ ³⁾.

В 1768 году Дюпон (впоследствии Немурский) выступил с небольшой книжкой, носившей такое же широковещательное заглавие, как и другие труды „школы“: „*О происхождении и прогрессе новой науки*“. На эту мало оригинальную книгу можно смотреть, как на наиболее полное изложение политических и моральных основ доктрины физиократов ⁴⁾. Нигде в другом месте у физиократов попытки нащупать и формулировать основной исторический фактор, двигающий и определяющий эволюцию общества не чувствуются так сильно, как в этой книге, отразившей работу мысли целого поколения экономистов.

¹⁾ Oeuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay, fondateur du système physiocratique publiées par Auguste Oncken. Francfort S/M Paris, 1888 Despotisme de la Chine, Ch. VIII, § 6

²⁾ F. Quesnay, op. cit. ch. VIII, § 11.

³⁾ F. Quesnay, op. cit. Ch. VIII, § 12.

⁴⁾ Дело в том, что это произведение Дюпона явилось ответом на книгу Мерсье де ла Ривьера «L'Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques» (1767) и представляет собою в сущности краткое резюме этого обширного труда, в котором автор сам ставил своей задачей как можно исчерпывающе передать основные идеи основателя школы Кенэ. Collection des principaux économistes par. M. Eugène Daire. Physiocrates, I, 335. 439.

¹⁾ Oeuvres de Turgot, t. V, 12—14

²⁾ Oeuvres de Turgot, t. V, 16—17

³⁾ Oeuvres de Turgot, t. V, 15.

⁴⁾ Mirabeau. Ami des hommes, p. 17. Цитируется у Веллерса

Дюпон вступает здесь в решительную полемику с договорной теорией происхождения государства, полагавшей в конечном счете, что желания и воля людей определяют ход исторического развития. Сам Монтескье в сущности стоял на этой позиции, указывая на определяющую роль политических установлений, „законов“ и конституций, способствующих жизни или смерти, процветанию или упадку государственного организма, в зависимости от того или иного содержания своих предписаний. В сущности все почти социальные реформы XVIII века стояли на этой неисторической точке зрения. Напомним, что основной чертой учения Гельвеция является отождествление морали и законодательства или *этократия*, по выражению Гольбаха. Отсюда вера во всемогущество политических рецептов, убеждение, что при помощи хорошего „катихизиса морали“ можно не только реформировать государство, но и повернуть самую историю назад, ко временам патриархальной рая и естественной простоты ¹⁾.

Физиократы не даром претендовали на монопольное знание „естественных законов“, Дюпон начинает с упрека автору „Духа Законов“, который, несмотря на весь свой ум, не научил тому, „что является первоначальным основанием, общим предметом всякой политической организации“. Монтескье ограничивался указаниями, что „принципы управления должны изменяться сообразно с формой конституции“ ²⁾. Возражая против такой постановки вопроса, Дюпон говорит: „а люди однако не случайно об’единились в гражданские общества... они имели какую-то основную цель, обозначенную их природой, чтобы поступать так. В то же время сама их физическая организация (*leur constitution phisique*), а также физическая организация других существ, окружавших их, отнимала всякий произвол в выборе средств для достижения этой цели, ибо не может быть ничего произвольного в физических актах, направляемых к предопределенной цели... существует таким

образом некий естественный, основной и общий порядок, заключающий в себе все основные и конституционные законы общества; порядок, от которого общество не может уклониться, не перестав в то же время быть обществом... Вот этого-то как-раз и не знал Монтескье“. ¹⁾ Далее Дюпон указывает на самый метод познания этого „основного и естественного порядка“, определяющего жизнь общества и в настоящем, и в прошлом. Метод этот — наблюдение за природой вообще и, в частности, опытное изучение общественной жизни животных — пчел, бобров, муравьев. Кенэ в своих построениях, по словам Дюпона, исходит из наблюдения за общественностью у животных, восходя отсюда до формулирования „физических законов, относящихся к обществу“ ²⁾.

Уяснив таким образом свое задание и метод, Дюпон вскрывает основную предпосылку социологии физиократов — необходимый характер человеческого общества, существующий независимо от каких бы то ни было соглашений, договоров и основанный исключительно на физических потребностях человека и на общем интересе ³⁾. Физическая необходимость, физические законы, физические потребности, все эти термины, употребляемые Дюпоном, представляют попытки подчеркнуть об’ективный смысл непроизвольного стихийного характера экономической деятельности человека и уловить смутно чувствуемые законы общественного производства.

Самую динамику постепенного развития общества мы находим в другой работе Дюпона, „*Систематической таблице принципов политической экономии*“ (1775), написанной в сотрудничестве с Тюрго ⁴⁾.

Исходным пунктом здесь является представление о некотором неорганизованном сосуществовании людей (*état de multitude*), удовлетворяющих свои примитивные потребности отыскиванием и поеданием плодов земных. Это стадия

¹⁾ Ср., что говорит Гельвеций о необходимости составить *un catéchisme de probité* — катихизис честности, доступный для понимания всех граждан. *Helvétius. De l'Esprit, Disc. II, ch. XVII.*

²⁾ *Dupont de Nemours. De l'origine et des progrès d'une science nouvelle. Collection Daire I 337.*

¹⁾ *Dupont de Nemours, op. cit. I, 337-338.*

²⁾ *Ibidem.*

³⁾ *Dupont de Nemours, op. cit. I, 341.*

⁴⁾ *Dupont de Nemours. Table raisonnée des principes de l'économie politique. Cm. Schelle. D. de Nemours et l'école physiocratique, p. 163, а также Mastrier. Turgot, sa vie et sa doctrine, p. 410.*

растительной пищи по преимуществу (de la recherche des productions végétales spontanées); здесь нет еще неравенства, люди образуют один класс; власть отца и кровные узы (les liens du sang) служат объединяющим началом.

Как только начинает ощущаться недостаточность плодов для пропитания и поддержания жизни, ищутся другие пути к их удовлетворению. Начинается 2-ая стадия — охотничий и рыболовный период. И здесь нет пока общественных классов, но самый способ добывания пищи, общественная охота, делает необходимым руководство и выдвигает власть вождей.

Третий период знаменует начало пастушеского быта. В обществе происходит дальнейшая дифференциация: собственники стад — движимого имущества — отделяются от неимущих, кормящихся от первых. Рядом с классом собственников (propriétaires) возникают salariés — салариат, представители наемного труда.

Вместе с земледелием начинается собственно общественное состояние (état de société). Человеческие отношения развиваются и усложняются. Стремление приобретать, умножать блага требует разделения труда, и это разделение обуславливает классовую структуру общества. Тогда для охраны интересов собственников возникает „регулярное общество“ (société régulière), т. е. государство, и экономически определившиеся отношения получают юридическое определение в законах ¹⁾.

Это построение Тюрго и Дюпона дает нам окончательный синтез того, что они называют „физическими законами, относящимися к обществу“, или, иначе говоря, набрасывают самую общую схему развития общества от первобытных времен до возникновения государства. Эта общая схема постепенно вошла в научный оборот, часто повторялась подвергалась неоднократным переработкам и вызвала многочисленные подражания. Там, где Гельвеций, отступая от обычной морализации, пытается обрисовать ход исторического процесса, он невольно для самого себя воспро-

изводит знакомую уже нам схему ¹⁾. Последняя к концу века становится каким-то социологическим клише, по которому образуют свои теории мыслители самых противоположных направлений. Кондорсе и Барнав, антиподы в политике, контрасты по своим вкусам, симпатиям, привязанностям и страстям, оба кладут в основу своих исторических рассуждений эту схему: один — для того, чтобы показать в своем „Проспекте“ бесконечный ряд достижений человеческого духа; другой — задаваясь целью вскрыть в своем „Введении“ тайную работу фатальных сил, с неумолимой последовательностью подготовивших революцию во Франции.

Нам остается теперь уяснить, каким образом ставит и разрешает Барнав вопрос о взаимоотношении различных сторон социальной эволюции, и в каком отношении он идет дальше исторических построений физиократов.

В своем „Введении во Французскую Революцию“ Барнав начинает с некоторых общих теоретических соображений, где высказывается, как он понимает процесс образования различных политических форм, которым в его время придавали значение единственных активных сил истории ²⁾. По его мнению, воля человека вовсе не создает законов, она почти ничто, она бессильна в образовании форм правления ³⁾. Чем, спрашивается тогда, обуславливаются различные политические перемены, смена одних форм другими, о которых свидетельствует нам история? В ответ на это Барнав указывает прежде всего на „природу вещей“ (nature des choses). Это довольно неопределенное объяснение вполне в духе той исторической школы, в которой Барнав брал свои уроки: ссылками на „природу вещей“ пестрит вся социологическая литература физиократов. Выше мы встречали ее у Тюрго и у Дюпона. Но Барнав не останавливается на этом и стремится объяснить нам, что он понимает под этой „природой вещей“. Последняя образуется совокупностью исторических обстоятельств, куда, как со-

¹⁾ Тексты см. *Benedikt Guntzberg*. Die Gesellschafts- und Staatslehre der Physiokraten Leipzig 1907 Из серии «Staats- und volkerrechtliche Abhandlungen». B VI, Heft 3, S.S. 49—55

¹⁾ Для этого стоит сравнить то, что говорит Гельвеций о развитии общества в «De l'esprit», Disc. III ch 5, 6, 9; в «De l'homme» Sec VI, ch 6—10 Sec VIII, 6—9. Русский перевод «Об уме», стр 211—212

²⁾ Ch II, Ce que produit la forme des gouvernements.

³⁾ Introduction Oeuvres de Barnave, I, 3

ставные элементы, входят: во-первых, то, что Барнав называет „социальным периодом“, т. е. та ступень общественных отношений, до которой успел подняться данный народ, затем географические условия, далее, „богатства народа“ (ses richesses) — его экономическое положение, наконец, потребности, привычки и нравы. „Это они“, говорит Барнав, „сообразно времени и месту, то сосредоточивают власть в руках одного, то передают ее нескольким, то вручают ее всем, самым разнообразным образом подразделяя ее. Те, кто обладает властью в силу природы вещей, создают и законы для удержания ее в своих руках; таким-то образом возникают и постепенно упрочиваются государства; прогресс общественных отношений создает новые источники власти, искажает старые и меняет соотношение сил (la proportion des forces). Тогда старые законы не могут уже долго существовать; на сцене появляются новые влияния, которым необходимо установить свои законы, утвердить свою систему. Таким образом правительства иногда постепенно и нечувствительно меняют свою форму, порой же проходят через страшные сотрясения¹⁾).

Ответ на поставленный нами вопрос о двигательных силах в истории дан Барнавом, и дан с исчерпывающей полнотой. Мы видим, что он указывает на ряд взаимодействующих факторов: социальный уклад, географические условия, богатства, потребности, нравы и привычки. И, тем не менее, при ближайшем рассмотрении оказывается, что они имеют не равноценное значение, и воля человека, о которой говорит Барнав, ставится в зависимость от экономического и социального „периода“ общества. Основная мысль Барнава, пробивающаяся сквозь тенета неустановившейся терминологии, заключается в том, что политические перемены отражают только „развитие общественных отношений“, и что они делаются внутренне необходимы при данном состоянии „природы“ вещей, и что стихийные силы истории, связанные со всей космической системой, действуют независимо от того, хочется нам этого, или не хочется. „Среди множества причин, совместное влияние которых вызывает политические события, имеются *таки*

которые настолько связаны с природой вещей, постоянное и правильное действие которых является настолько преобладающим над влиянием случайных причин, что через известный промежуток времени они почти неизбежно приводят к своим результатам“¹⁾.

Посмотрим теперь, как применяются эти общие соображения к живой ткани самого исторического процесса.

Сумерки человеческого общества; царит „естественная демократия“, т. е. каждый управляет самим собой, опираясь на свои физические силы; человек живет охотой и едва знает *собственность*. Отсюда Барнав делает вывод, что тогда существовал аграрный коммунизм²⁾.

С логической последовательностью он заключает отсюда, что власть и зачатки политических учреждений не могли тогда „базироваться на собственности“. Разделение и первое расслоение общества проходят по возрасту (старейшины и их власть), по знаниям и навыку (кудесники, колдуны, знахари, брамы, авгуры, друиды)³⁾.

Происхождение следующей ступени, как и у физиократов, приписывается Барнавом росту населения; приручая животных, человек постепенно становится пастухом. Тут *собственность* уже вступает в свои права, появляется богатый и бедный, и „естественная демократия“ нарушается. Необходимость защищать и охранять собственность порождает власть, военную и гражданскую; власть предоставляет новые широкие возможности для обогащения, равно как и собственность, сосредоточиваясь в одних руках, порождает власть⁴⁾.

Увеличение населения усложняет потребности и толкает человека на увеличение производительности; человек обращается к почве, перестает бродить и делается земледельцем. Земля становится частной *собственностью* и расходуется по рукам; здесь уже не остается ничего от первобытного коммунизма; право собственности охватывает все, пронизывает все отношения и более могущественным образом на-

¹⁾ Ch 1. Point de Vue Général I, 2.

²⁾ La terre entière est commune à tous. Oeuvres, I, 5.

³⁾ Introduction... Ibidem.

⁴⁾ Introduction .. I, 6.

¹⁾ Ibidem. Курсив везде мой.

чинает влиять на распределение власти ¹⁾. Какова же политическая форма, которая соответствует режиму земельной собственности? Физиократы единодушно отвечали, что это монархия, руссоисты настаивали на демократии. Барнав не согласен ни с теми, ни с другими; первоначальное, хищническое и стихийное распределение земель могло породить только аристократию, т. е. управление кучки земельных собственников. При этом процесс обезземеления масс мог происходить самым различным образом; Барнав придает важное значение мобилизации земельной собственности. Это экономическое явление настолько отчетливо характеризуется им, что невольно забываешь, что Барнав писал до появления трактатов Рикардо и Мальтуса о земельной ренте. „Существует“, говорит он, „некоторый принцип, по которому там, где нет другого капитала, кроме земли, крупные владения должны мало-по-малу поглотить мелкие“ ²⁾. На этом экономическом фундаменте Барнав рисует общественные и политические отношения эпохи феодализма, через которую необходимо должны были пройти все народы и государства ³⁾. Господство земельной аристократии сопровождается падением монархической власти и политическим распадом государства. И это последнее обстоятельство относится Барнавом к его экономическим основаниям: „так как (при этом) отсутствует торговля“, говорит он, „отдельные части страны не объединяются между собою своими потребностями и взаимными сношениями, а так как не может существовать никаких средств для собирания налогов в стране, где нет никакой концентрации капиталов (où il n'y a aucune accumulation de capitaux), центральная власть не может содержать достаточных сил для поддержания единства и подчинения; напротив, сила сосредоточивается в тех частях территории, где собираются и потребляются богатства“ ⁴⁾. Господство аристократии продолжается до тех пор, пока земельная собственность остается единственным капиталом. Но „естественный ход обществ“ бесконечно увеличивает на-

селение и толкает развитие промышленности до той ступени, пока она не разовьет всех своих возможностей ¹⁾. Впрочем две силы могущественным образом могут ускорять или задерживать „прогресс этой последней эпохи“: географическое положение, которое или сближает, или разделяет людей, и политические учреждения, которые могут направлять энергию народа или к производительной деятельности, или в сторону войн, истребляющих население. Что касается учреждений, то они все-таки формируются географическими условиями и „приобретают дух локальности“. Напротив, аристократия, как угодно, долго может сопротивляться наступлению этого строя, так как в руках у нее власть; чтобы продолжить свое существование, она будет создавать системы субституций, майоратов, неотчуждаемых церковных владений, она будет страшно цепляться за власть, но все же будет раздавлена ходом истории ²⁾.

„Как бы то ни было“, говорит Барнав, „как только ремесла и торговля начнут создавать новые средства обогащения среди трудолюбивого класса, можно сказать, что готовится революция и в политических законах; новое распределение богатств производит новое распределение власти. Подобно тому, как владение землями возвысило аристократию, промышленная собственность возвышает власть народа: последний возвращает свою свободу, размножается и начинает влиять на дела“ ³⁾.

Мы видим, как Барнав, шаг за шагом, разматывая клубок человеческих отношений, приводит нас от первобытного общества, через господство аристократии, к демократии, все более и более завоевывающей себе положение в современном государстве. Идея прогрессивного развития общественных отношений одушевляет все построение Барнава и представляет собой тот философский скелет, который поддерживает разнообразные части его системы. Этот социальный прогресс кажется ему осуществлением общего стремления космоса к усовершенствованию. „Природа, какова она есть“, восклицает он, „все еще неисчерпаема в своих средствах и

¹⁾ Introduction... I, 7.

²⁾ Introduction... Oeuvres, I, 8—9

³⁾ Oeuvres, I, 9—10

⁴⁾ Op. cit., I, 11—12.

¹⁾ Oeuvres, I, 11—12.

²⁾ Op. cit., I, 13.

³⁾ Op. cit., I, 13—14.

богата возможностями совершенствования (*riche en perfectibilité*); нужно только хорошо знать, что она собою представляет, чем она может быть, и каким путем этого можно достигнуть" ¹⁾).

Напомним, что Кондорсе в своем знаменитом „Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума“ также пытается исторически подтвердить, что человечество обладает бесконечной способностью к совершенствованию ²⁾. Поэтому является небезинтересным сравнить социологическую конструкцию Кондорсе и Барнава и проследить, как ими понимается связь между историческими явлениями.

Кондорсе так же, как Барнав, поклонник натуралистического метода в общественной науке. Подобно Барнаву, он апеллирует к природе. „Природа не поставила никаких границ для совершенствования человеческих способностей“ — заявляет он, и прогресс „не имеет другого предела, кроме продолжительности существования той планеты, куда нас закинула природа“ ³⁾. Иначе говоря, Кондорсе исходит из того же натуралистического историзма, который, как мы видели, лежит в основе рассуждений Барнава об единстве метода. Поэтому, когда Кондорсе начинает разбирать, какие силы двигают ход развития человеческого общества, на первый взгляд может показаться, что тут первую роль играет удовлетворение материальных потребностей человека. Так, он указывает, что в течение „первой эпохи“, когда люди соединены в бродячие племена, охота является их единственной экономической деятельностью ⁴⁾. Переход от первой эпохи ко второй, от охотничьего к пастушескому быту объясняется у него новым способом удовлетворения материальных потребностей ⁵⁾. Наконец, наступление третьей эпохи, „земледельческой“, прямо приписывается медленному и постепенному прогрессу в силу назревших потребностей и под влиянием окружающей естественной среды ⁶⁾. И, тем

не менее, решающую роль в общественной эволюции Кондорсе приписывает отнюдь не экономике и строящейся на ней группировке общества. По его мнению, два вида прогресса особенно присущи человеческому роду: это, прежде всего, изобретения, открытия, как плод размысленный отдельного ума, а затем, коллективные приобретения сознания, как результат обобщенных наблюдений ¹⁾. Если весь поступательный ход истории сводится, в конце концов, к коллективным или индивидуальным достижениям духа, то делается совершенно понятным, что Кондорсе считает „предрассудки и заблуждения“ первым тормазом прогресса. Возьмем, например, мрачную картину в конце 3-ей эпохи: изображение картины восточных царств, которые „позорят“ Азию: тут прогресс останавливается и на долго застревает. Сюда же относится появление „мрачных сект и христианства“; торжество христианства означает для него полный декаданс наук и философии. Понятно и прославление Юлиана-отступника, хотевшего избавить человечество от этого бича ²⁾. Точно также „быстрое и блестящее движение наук“ после реформации приписывается появлению „трех гениев“ — Бэкона, Галилея и Декарта ³⁾.

Вообще в этом знаменитом произведении, в котором искали холодного изображения судеб человечества, грезвый социологический трактат, гораздо больше, чем то кажется на первый взгляд, научного прозелитизма, проповеднического пафоса и полемического задора. Стоит только вспомнить, в каких условиях создавался „эскиз“, чтобы не искать в нем того, чего он никогда дать не мог ⁴⁾. Впрочем в начале „проспекта“ Кондорсе настроен более объективно, и до четвертой эпохи включительно он дает вышеразобранную эволюцию человечества, в которой не трудно заметить послуш-

¹⁾ *Etudes sur l'homme Oeuvres de Barnave*. III, 12.

²⁾ *Condorcet*. Tableau historique des Progrès de l'Esprit humain. 1-ère partie. Prospectus d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Paris G. Steinheil éditeur, 1900

³⁾ *Condorcet*, op. cit., p. 2—3

⁴⁾ *Condorcet*, op. cit., p. 16—17.

⁵⁾ *Condorcet*, op. cit., p. 20.

¹⁾ *Condorcet*, op. cit., p. 18.

²⁾ *Condorcet*, op. cit., p. 35—36, 66—67, часть «Шестой эпохи»

³⁾ Op. cit., p. 106—107.

⁴⁾ *F. Picavet* (*Les Ideologues*) совершенно правильно указывает, что история для Кондорсе не более, как отрывной пункт. «По тому, как она наставляет, нужно нарисовать будущее судьбы человечества» И, действительно, центр тяжести изложения Кондорсе в последней эпохе (будущее человечества) и в его знаменитой социальной утопии «Атлантиде», составляющей один из фрагментов «эскиза».

ное повторение историко-социологических построений Дюпона, Тюрго, маркиза Шастелью и некоторых других. Зависимость от физиократов и в частности от Тюрго особенно сказывается там, где Кондорсе трактует вопрос о разделении труда: „в течении первых двух эпох, говорит он, все подвиды, все семьи, по крайней мере, исполняли почти все необходимые работы. Но когда появились люди, которые, не трудясь, стали жить с продуктов своей земли, и другие люди, которые жили на плату, получаемую от первых; когда работы умножились, когда производство отдельных работ стало более обширным и сложным—общий интерес повел к разделению труда“¹⁾. Здесь Кондорсе буквально повторяет учение о разделении труда, как оно изложено в „Размышлениях“ Тюрго.

Напротив, Барнав в своей картине развития общества гораздо свободнее относится к схеме физиократов. Имея в виду порядок преемственной связи общественных форм, заимствованный у них, он кладет в основу всей исторической эволюции „собственность“, видоизменениями которой он объясняет революции, войны, смены правительств, конституций, законов и политических учреждений. Чтобы уяснить себе, как понимает Барнав соотношение основных сторон общественной эволюции, и как он оценивает их относительную значимость и силу, нужно вскрыть то содержание, которое он вкладывает в это понятие собственности.

Собственность означает у Барнава некоторую совокупность общественных отношений, отвердевших в определенных юридических нормах. Необходимо указать, что определяющее влияние собственности на ход истории и, в частности, на смену политических форм всего яснее усматривалось именно при том понимании этого института, которое выдвигало на первый план ее политико-юридическую сторону²⁾. Правда, позади этого поли-

тико-юридического аспекта собственности Барнав усматривает материальные потребности и интересы различных общественных групп, но он, в отличие от материалистов XIX века, не усматривает *производственного момента* в происхождении собственности. Анализ Маркса в этом отношении спускается глубже юридической регламентации собственности и старается проникнуть в самый процесс ее „производства“. „Экономические эпохи различаются“, говорит он, „не тем, *что* производится, а тем, *как* производится, *какими средствами труда*“¹⁾. Напротив, для мыслителей XVIII века (физиократы), и в том числе для Барнава на первом плане было именно, *что* производится и *как* оно распределяется. Самый момент производственного накопления богатств ускользал из их сознания. Это сказывается у Барнава, когда он трактует вопрос о происхождении феодальной собственности на землю. Тут он указывает на два пути завладения землей: первый—путь раздела дворовой земли; при этом естественно, что экономически более сильные, имеющие больше стад и рабов захватят больше, чем бедняки, которым нечем даже расчислить цену; второй—это путь завоевания; при этом неравенство *состояний* сказывается еще сильнее, чем в первом случае; победители грабят побежденных, низводя их на положение рабов; земли же расходятся между вождями и их свитой²⁾. Правда, Барнав присоединяет еще одно обстоятельство, а именно факт мобилизации земельной собственности, но как раз именно то обстоятельство, что это экономическое явление низводится им на степень привходящей и второстепенной причины, свидетельствует, как нельзя лучше, о том, что собственно экономический анализ собственности не стоит для Барнава на первом плане. Здесь, между прочим, и намечается расхождение его исторических построений от диалектического материализма Маркса и Энгельса, ускользнувшее от внимания Жореса; но тут же проявляется внутреннее сходство идей Барнава со взглядами историков либеральной и социалистической оппозиции во Франции в

¹⁾ Condorcet, p. 23.

²⁾ Alors la terre se divise entre les individus, la propriété n'enveloppe plus seulement les troupeaux qui couvrent le sol, mais le sol lui-même; rien n'est commun: bientôt les champs, les forêts, les fleuves même deviennent propriété; et ce droit, acquérant chaque jour plus d'étendue, influe de plus en plus puissamment sur la distribution du pouvoir Oeuvres de Barnave, I, 6—7.

¹⁾ К. Маркс. Капитал, перевод Базарова и Степанова, Москва. 1909 I, 145. Курсив здесь наш.

²⁾ Oeuvres de Barnave, I, 7—9.

первой половине XIX века, таких как, Огюстен, Тьерри, Минье, Гизо, Арман Каррель, Луи Блан и Бюше; когда Гизо утверждал, что предметом исторического изучения должно быть „общество, его состав, образ жизни отдельных лиц, в зависимости от их социального положения, отношения различных классов, лиц, словом *гражданский быт людей*“, то он, сам того не зная, повторял идеи Барнава, написанные почти за 30 лет до „*Опыта по истории Франции*“ (Essai sur l'histoire de France), появившегося на свет в 1821 году ¹⁾.

Но Барнав не только политику подчиняет влиянию основного исторического фактора — „собственности“. Уровень знаний, прогресс или регресс общественного сознания, моральное состояние общества он ставит в прямую зависимость от того или иного распределения „богатств“ (richesses). Рисуя идеологическое состояние крепостной крестьянской массы в эпоху господства земельных магнатов, Барнав указывает, что рука-об-руку с материальным порабощением происходит и духовное принижение бедняка (le pauvre). Земледелец впадает в невежество, он утрачивает ту проникательность, ту свободу воображения, которая свойственна бродячим пастухам, и далек еще от просвещения и смелости в мыслях, которые являются плодом развития богатств и прогресса ремесл. „Обыкновенно одиночка, поглощенный непрерывной и однообразной работой, он представляет образец крайней степени принижения, до которой может дойти человеческая природа: он тогда делается легкой добычей всевозможных суеверий. Вот почему небольшая кучка легко налагает на эту толпу тройную власть богатства, силы и просвещенности, удерживая в своих руках управление государством, производство суда, военное командование и служение Богу“ ²⁾.

Великий подъем наук и искусств, характеризующий переход от средних веков к новой Европе, тот самый „блестящий и быстрый прогресс знаний“, который Кондорсе

приписывал рождению трех гениев, ставится Барнавом в непосредственную причинно-следственную зависимость от развития ремесел и искусств, содействовавших обогащению городских классов. „Рост промышленности и движимого капитала (richesse mobilière), говорит он, освободивших народ и принизивших знать, а также содействовавших образованию современных государств, не мог не закончиться разрушением уз предрассудков и подрывом основ той власти, в руках которой было управление католическим культом“ ¹⁾. Объясняя рост самосознания буржуазных классов в городах, Барнав прямо указывает, что дерзновение, смелость мысли (la hardiesse de penser) прямо порождается сознанием физической силы (est le produit du sentiment de la force), которое, в свою очередь, зависит от „обогащения“, т. е. роста движимой собственности капитала ²⁾.

Если мы резюмируем теперь то, что говорил Барнав о влиянии на историческое развитие „природы вещей“, и припомним, что он понимает под „собственностью“, то взаимоотношение между различными сторонами исторического процесса представится следующим образом:

определенное состояние материальных потребностей руководящих общественных классов ищет своего удовлетворения в известном укладе имущественно-правовых отношений, выливающих в ту или иную политическую форму в зависимости от характера и свойств преобладающей собственности; эта же самая собственность определяет умственный, нравственный, религиозный уровень представителей различных общественных групп.

Схематично эту связь между различными категориями исторических явлений можно представить себе так:

определенное состояние материальных потребностей, определенный уклад имущественно-правовых отношений,

определенная форма правления, определенный „идеологический“ уровень.

¹⁾ Об исторических идеях Минье, Гизо см. предисловие Г. В. Плеханова к *Коммунистическому Манифесту*, о материалистическом понимании истории у Тьерри его же статья в *Devenir Social*, 1895, novembre.

²⁾ Oeuvres de Barnave, I, 10

¹⁾ Oeuvres... I, 36

²⁾ Ibidem.

У Маркса эта связь явлений представилась бы в следующем виде:

производительные силы, зависящие от развития техники,
производственные отношения — организация собственности,
общественные классы, как социальное выявление отношений производства,
формы сознания (политика, право, государство, идеология, религия и т. под.).

Из сравнения этих схем видно, что расхождение между идеями Барнава и Маркса по вопросу о собственности принимает характер принципиального различия, как только мы коснемся проблемы о связи между различными сторонами исторического развития. Маркс, будучи последовательным монистом, еще в период образования своих исторических взглядов весьма знаменательно высказался в „Святом Семействе“: „отделяя мышление от чувствования, душу от тела, себя самое от мира, она (т. е. теологическая „критическая критика“) отделяет историю от естествознания и промышленности; равным образом, родину истории она видит не в грубом материальном производстве на земле, но в туманных облаках неба“¹⁾. В последующем Маркс только развивал и доказывал на исторических примерах эту сжатую формулировку, в которой *implicite* заложена вся теория исторического материализма. Именно „грубо материальное производство“ создает в стихийном процессе исторической жизни те общественные группировки, которые являются носителями „производственных отношений“. Общественное расслоение по Марксу является всегда функцией производительных сил через производственные отношения, находящие свое закрепление в правовых установлениях²⁾. В этом смысле можно утверждать, что Маркс признает между экономикой и прочими явлениями социального мира одно причинно-следственное отношение, в

силу которого „техника производства“, образно выражаясь „базис“, является достаточной причиной наличия тех или иных „надстроек“.

Впоследствии Энгельс уже на закате своих дней еще раз пересмотрел и подробнее разъяснил вопрос о взаимодействии, но издесь он едва ли отступил от основного причинно-следственного монизма в понимании связи общественных явлений, хотя и соглашался с тем, что политические условия, напр., „играют известную роль, хотя и не решающую“, что за надстройками можно признать „влияние“, но „влияние второстепенное“, что государство может оказывать „воздействие на условия и ход производства“, но что это все же „взаимодействие двух неравных сил, экономического движения с одной стороны, и с другой стороны — политической силы“¹⁾. Но с такой формулировкой, вероятно, согласился бы и Маркс, допускавший в своих историко-публицистических работах возможность *влияния* надстроек на базис и, тем не менее, гносеологически признававший методологическое значение только за причинно-следственным монизмом в познании общественных явлений.

У плюралиста Барнава мы видим другое решение вопроса о связи между переплетающейся канвой исторических явлений; мы наблюдаем у него сосуществование нескольких рядов причинных соотношений: материальные потребности, правда, порождают и имущественные отношения, и формы правления, и идеи; но и обратно, имущественно-правовой уклад, государство и идеология являются причинами новых материальных потребностей и вырастающей на них собственности; напротив, генетически, в смысле порядка происхождения явлений во времени, собственность является первичным и основным каузальным фактом. Только имея в виду это методологическое различие, можно понять, когда Барнав высказывается, например, следующим образом: „с известной точки зрения можно рассматривать население, собственность, нравы и просве-

¹⁾ К. Маркс. Die Heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik gegen Bruno Bauer und Cont Frankfurt a. M. 1845.

²⁾ В „*Elend der Philosophie*“ (1846) Маркс прямо говорит: «Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren; die Dampfmaschine eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten». S. 101.

¹⁾ К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. Теория и политика в переписке Маркса и Энгельса. Перевод, статьи и примечания В. В. Адоратского. Москва. 1922 г., стр. 274, 277, 282.

щение как *элементы и субстанцию, образующие общественное тело*, и видеть в законах и правительстве ткань, которая их связывает и обхватывает" ¹⁾.

С этой же стороны интересно учение Барнава о так называемой социальной „плеторе“ или о моментах социального „полнокровия“ (*des temps de pleth re*); последнее наступает, когда общественные силы не умещаются больше в рамках привычных социально-политических отношений, они стремятся тогда разорвать старые узы, связывающие их, и тем самым готовят неизбежный кризис ²⁾. Такой кризис переживала Европа, когда она достигла той степени населения и богатств, которые не могли вписаться в рамках феодального режима. Тогда необходимо возникли крестовые походы, газредившие напряжение социально-политической атмосферы. Не будь этого внешнего взрыва, быть-может, произошла бы внутренняя революция ³⁾. „Три вещи“, по мнению Барнава, „обычно связанные друг с другом, образуют эту плетору: население, богатства (*les richesses*) и новые идеи. Эти последние являются почти всегда результатом брожения двух первых“ ⁴⁾.

Здесь три фактора — рост населения, накопление богатств (капиталов) и новые идеи — сводятся в сущности к двум первым. Оговорка Барнава по поводу „идей“, являющихся результатом „брожения“ капиталов и населения, знаменательна и отнюдь не случайна; она вполне согласуется с его пониманием относительной роли исторических факторов и с данной выше схемой причинного ряда.

Социальная плетора не раз применяется Барнавом к объяснению исторических явлений, укажем здесь на одно особенно удачное применение этой социологической конструкции. Народы севера, полагает Барнав, также достигли этого состояния материального полнокровия по отношению к своим установлениям и обычаям, когда они наводнили Римскую империю. „Они слишком размножились“, говорят

Барнав, „чтобы жить охотой: прогресс их сил и представлений властно толкал их к захвату новых ценностей“ ¹⁾.

Развив и дополнив основные положения социологической схемы экономистов, Барнав постарался применить ее к конкретному материалу истории, к тому запасу своих наблюдений, первоначальное ядро которого он почерпнул со страниц „Духа законов“.

Обладая редким синтетическим даром, Барнав дал нам ряд интересных наблюдений по эволюции обществ, предвосхищающих наиболее законченные достижения последующей мысли.

Вместе с тем, на пути к материалистическому построению истории Барнав не мог не встретиться с идеей борьбы общественных классов, к которой, впрочем, толкала его сама окружающая жизнь. Уяснить себе, какое место ей суждено было занять в исторических представлениях Барнава, и составляет задачу последующей главы.

¹⁾ Oeuvres I, 37.

²⁾ Réflexions politiques Oeuvres, II, 171

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Réflexions.. II, 173; курсив везде мой

²⁾ Réflexions, II, 175 Курсив мой.

ГЛАВА IV.

Проблема борьбы общественных классов.

В письме к Вейдемейеру от 5 марта 1852 г. Маркс писал по поводу истории разработки идеи классовой борьбы: „Что касается меня, то мне не принадлежит ни заслуга открытия классов в современном обществе, ни заслуга открытия их борьбы между собой. Буржуазные историки задолго до меня изложили историческое развитие этой борьбы, а буржуазные экономисты—экономическую анатомию классов“. Самому себе Маркс приписывал „доказательство“ следующих трех положений: 1) что существование классов связано лишь с определенными историческими формами борьбы, свойственными развитию производства, 2) что классовая борьба неизбежно ведет к диктатуре пролетариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничтожению всяких классов и к установлению общественного строя, в котором не будет места делению на классы“¹⁾. Анализ классовой концепции Барнава толькошний раз подтверждает правильность этих слов Маркса; и, действительно, в XVIII веке вообще не было недостатка в указаниях на значение классовой борьбы в общественной жизни; напротив, можно назвать целый ряд „философов“, у которых мы найдем блестящее подтверждение того, что они умели оценивать это явление и непрестанно считались с ним в своих построениях. Напротив, вопрос об изучении идеи классовых антагонизмов осложняется как-раз тем обстоятельством, что просвети-

тельная философия представляет нам великое разнообразие подходов к этому явлению и еще большее число различных попыток объяснить его.

Чтобы правильно оценить влияние всех этих построений на исторические взгляды изучаемого нами мыслителя, нужно прежде всего методологически отгородиться от морализующего, этически-оценочного направления в понимании общественных классов и остановиться на изучении историко-социологического понимания, ставившего своею целью познать явление таким, как оно существует в его внутренней взаимообусловленности и закономерности.

Затем, очень часто смешивают учение о классовом расчленении общества с идеей самой борьбы классов¹⁾. Что это далеко не одно и то же, доказывается доктриной физиократов, у которых научно обоснованное учение о классовой дифференциации общества соединяется с учением о гармонии классов, к которой будто бы ведет историческое развитие.

Наконец, в развитии самой идеи классовой борьбы необходимо различать *несколько моментов*, преемственно связанных друг с другом.

Первый момент. Учение о классовых антагонизмах, присущих современному обществу, проявляется прежде всего в форме противоположения торговли и землевладения, сельского хозяйства и индустрии, города и деревни, столицы и провинции. Так, доктор Кенэ, основоположник физиократии, противоположность экономических интересов земледельцев и купцов облакает в форму антагонизма между большим развращенным городом и деревенской фермой, близкой к природе²⁾. Что это не просто манера выражаться, доказывает ученье Мерсье де ля Ривьера, знающего классовую борьбу только как противоположность интересов сельского хозяйства и торговли³⁾.

¹⁾ Пример такого смешения дает этюд *Léon'a Cahen'a*. L'idée de lutte des classes au XVIII-e siècle. Revue de Synthèse historique, t. XII (1906).

²⁾ Oeuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay, fondateur du système physiocratique, publiées par *Auguste Oncken*. Francfort a/M., Paris 1888, статья *Fermiers*, p. 185, а также p. 323.

³⁾ *Mercier de la Rivière*. L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, p. 563 (Edition E. Daire).

Следующим шагом была замена неопределенных категорий и понятий (города, деревни, столицы, провинции и т. д.) четким различением в обществе отдельных классов, борющихся за свои интересы. Популярнее всего было деление на богатых и бедных. Это наиболее привычная канва, на которой вышивали свои узоры моралисты века просвещения. Руссо одним из первых оттепел борьбу между частным интересом, представленным немногими богачами-эгоистами, и общим интересом, выражающим стремления умеренного и бедного большинства. Мабли разнообразно варьировал это положение в своих растянуто скучных трактатах, но едва ли кто-нибудь ярче охарактеризовал непримиримую пропасть между эксплуататором - богачем и эксплуатируемым - бедняком, чем это сделал Лэнгэ, этот идейный противник физиократов, в своей „Теории гражданских законов“¹⁾. В то же время Лэнгэ исходит из чисто моральных побуждений, бичует существующее неравенство, но не указывает его экономических корней. Заслуга экономического обоснования общественных групп навсегда останется за школой физиократов, давших, как мы видели, стройную социологическую теорию.

Материалисты Гольбах и Гельвеций в сущности недалеки от морализующего взгляда Лэнгэ. То, что Плеханов после тщательнейших изысканий нашел у них на счет классовой борьбы, оказалось настолько неудовлетворительным, что заставило его отнести начало „понимания классовой борьбы, как важнейшего двигателя исторического развития“, к двадцатым годам XIX века, к школе французских историков либерального лагеря²⁾. Правда, у Гельвеция мы находим попытку обосновать классовое разделение общества на таком об'ективном явлении, как рост народонаселения, но и тут он имеет прежде всего в виду показать вред роскоши и неравномерного распределения богатств на развитие общественных нравов и законодательства³⁾. Мора-

лист в Гельвеции решительно перевешивает социолога⁴⁾.

Наконец, завершительным звеном в развитии теории классов является представление о том, что политическая власть является не более как формой организации экономически обусловленного господства одного класса над другими. Так эта идея формулируется у Тьерри, Гизо, Луи Блана, Лоренца Штейна и Маркса.

Применительно к нашей теме весь вопрос заключается в том, была ли эта законченная формулировка идеи классовой борьбы знакома XVIII веку, или, иначе говоря, подвнялась ли общественная философия просвещения до *синтеза* экономического обоснования происхождения классов, данного физиократами, с идеей социальных антагонизмов, наблюдающихся в истории, ибо, как мы видели выше, недостатка в указаниях на счет последних не было.

Этот теоретический синтез был обусловлен в конце XVIII века реальным столкновением общественных сил, обнажившим на минуту скрытые пружины исторической динамики; иначе говоря, синтез был дан в результате опыта Великой Французской Революции, содействовавшей подведению многих итогов под теоретическими построениями предреволюционного века. Отсюда напрашивается естественный вывод: истоков современного понимания классовой борьбы нужно искать не только в литературных проявлениях школы Сен-Симона, как это делал в свое время Г. В. Плеханов, а гораздо раньше, в той политико-социальной литературе, которая сопровождала и своеобразно отражала борьбу общественных классов в эпоху Великой Революции⁵⁾.

¹⁾ Примеры приведены с исчерпывающей полнотой у Плеханова в „Очерках по истории материализма“, появившихся в русском переводе В. Рикмана. Харьков 1922 г.

²⁾ Леон Каэн приводит любопытные тексты, характеризующие, как ставился вопрос о борьбе классов в брошюрной литературе накануне революции. Известный Вольтер в своей брошюре „Lettres des bourgeois aux gens de la campagne“ (Angers, mars 1789) видит классовое расслоение в самом третьем сословии. Но особенно категорично идея классовой борьбы звучит у Dufourry de Villiers в его „Caliers du 4-e ordre, celui de pauvre journalier, l'ordre sacré des infortunés“. Каэн приводит интересные выдержки из этой брошюры, относящейся к 25 апреля 1789 г. См также Gosselin

¹⁾ См. отрывки у М. Ковалевского в „Происхождении современной демократии“, у С. Н. Солнцева. Общественные классы, у L. Cahun'a и у Lichtenberger в Socialisme au XVIII-e siècle.

²⁾ Плеханов. Историческое развитие учения о классовой борьбе, стр. 85.

³⁾ Helvetius. De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation. Londres. MDCCL XXV, t. II, 109—116.

Революция естественно выдвинула на первый план идею столкновения общественных групп, которая сделалась предметом страстных дебатов в публицистической литературе. Генрих Кунов в своей книге „о печати во время революции“ приводит несколько отрывков из статей Марата, характеризующих, по его мнению, острую пронизательность „друга народа“ в анализе общественной структуры ¹⁾. В своем недавнем теоретическом труде по марксистской социологии Кунов снова останавливается на идеях Марата и указывает, какие классы различал последний во французском обществе ²⁾. Генрих Кунов при этом упускает одно обстоятельство, а именно: когда Марат бичует „дворянство, духовенство, сословие юристов, финансы, капитал, ученых, литераторов“, когда он пишет, что „революцию совершили только низшие классы общества: рабочие, ремесленники, мелкие торговцы, крестьяне, словом, низший слой, та беднота, которую богатые называют канальями, и которую римское бесстыдство некогда называло пролетариатом“, он в сущности стоит на старой морализующей точке зрения, которой революционный пафос придает необыкновенную силу и выразительность. Но это обстоятельство вряд ли усиливает теоретические основы „теории классов“ Марата, которую открыл у него Кунов.

Этический подход к борьбе классов—привычный мотив почти всей литературы просвещения: его мы находим и в страстных проклятиях „завещания“ Мелье, и в политических изречениях аббата Мабли, и в парадоксах Жан-

Réflexions d'un citoyen adressées aux notables. Paris, 1787. Другие тексты можно найти в книге F. Wollers'a. Studien über Agrarzustände und Agrarproblem in Frankreich von 1760 bis 1790.—1905 переведенной на русский язык. С. И. Солнцева в своей книге „Общественные классы“ (Петроград, 1923 г.) цитирует отрывки из Пассена (*Chassin. Les élections et les cahiers de Paris en 1789. Paris 1888*). *Lichtenberger André* (Le socialisme pendant la Révolution Française) и *E. B. Тарр* (Рабочий класс, т. I) характеризуют, как идея классовой борьбы преломлялась в сознании революционных масс; первый говорит о радикальной интеллигенции, второй—о рабочем классе.

¹⁾ H. Cunow. Die revolutionäre Zeitungsliteratur Frankreichs während der Jahre 1789—94*, S. 271—275. Имеется по-русски.

²⁾ H. Cunow. Die Marxsche Geschichts-, Gesellschafts- und Staatstheorie. Grundzüge der Marxschen Soziologie. Berlin 1921.—Jean Paul Marats Klassenkampfaufassung. B I, S 145—146, а также B. II, S. 51—52.

Жака Руссо во второй речи о неравенстве. Последний оставался всегда идейным вождем Марата, отрицательно относившегося ко всему материалистическому течению философии своего времени. Стоит перелистать „correspondance“ „друга народа“, чтобы убедиться, как желчно он осмеивает Локка, Кондильяка, Вольтера и Гельвеция ¹⁾. И на страницах своего боевого органа Марат продолжал оставаться последовательным „руссоистом“, последовательно применявшим идеи своего учителя в том водовороте политических и социальных страстей, среди которых ему пришлось выступать. Конечно, живя и работая в атмосфере революционных страстей, Марат не мог не заметить, что борьба в сущности шла вокруг определенных реальных интересов, выдвигавшихся отдельными общественными группами, но в то же время он ниразу не возвысился до отчетливого представления, что в основе политических движений лежат экономические интересы, что прогресс социальный и умственный имеет своей подпочвой эволюцию отношений собственности. Как-раз этих элементов, характерных для исторического мировоззрения Барнава, мы не находим в тех отрывках из произведений Марата, которые нам известны из книг Кунова. А без этих основных элементов всякая теория классов, претендующая лечь в основу материалистического взгляда на историю, осуждена пребывать только в области морально-идеалистических оценок.

Но в то время, как революционер Марат остается идеалистом в своей общественной философии, материалистический взгляд на борьбу классов делается уделом писателей не только умеренного направления, как Барнав и Малуэ, но таких заядлых контр-революционеров и роялистов, как Антуан Ривароль и вся блестящая компания, группировавшаяся вокруг „Апостольских Деяний“ и „Политико национального журнала“ ²⁾.

¹⁾ *Correspondance de J. P. Marat*. L'élite de Révolution par Ch. Vellay. Имеется по русски в переводе „Всемирной литературы“

²⁾ „Деяния“, роялистский политический журнал, травивший между прочим, Барнава; что касается *Journal politique-national*, то этот любопытный орган начал выходить с 12 июля 1789 г; основанный аббатом Сабатье де Кастром, он скоро попал в руки Ривароля, помещавшего в нем свои историко-публицистические „resumés“.

Редактор последнего, Антуан Ривароль, именовавший себя графом, но в сущности бывший обедневшим дворянином, любопытная фигура даже в толпе ярких персонажей революции.

Матерналист, радикал, космополит до революции, остроумный памфлетист, он становится врагом происходящего общественного переворота не из принципа, а по капризу, случайно, по своеправному упрямству, двинувшему его на политическую борьбу с теми самыми людьми, с которыми он вел до того убийственную литературную полемику. Литературные симпатии и определили его место в революции: Ривароль становится консерватором, осторожным скептиком и трезвым судьей тех самых увлечений, которые еще вчера кружили ему голову не меньше, чем его собратьям по перу, устроившимся в якобинском клубе.

Не в пример своим соратникам по оружию—роялистам, Ривароль весьма серьезно оценивал самый факт революции. Она никогда не казалась ему порождением какой-то чудовищной интриги, грандиозного заговора, концы которого опущены в воду. Спасая дело монархии, Ривароль отлично понимал всю безнадежность своего предприятия—и тем не менее упорствовал в нем, находя удовлетворение своему тщеславию в том, что ему казалось естественным долгом аристократа и роялиста.

Революция представлялась ему неизбежным завершением долгого исторического процесса, полного переворотов, катастроф, борьбы, падения одних и торжества других. Зло указывая, что аристократы дошли до того, что стали неспособны защищать свои сословные интересы, Ривароль пишет королю: „Аристократы поддались демократам по той же самой причине, по которой некогда галлы и римляне должны были склониться перед основателями монархии. Общее правило: всякий раз, когда начинают предпочитать сидеть у себя дома, а не быть на улице, можно ожидать, что те, которые чувствуют себя лучше всего на улице, кончат тем, что побьют сидящих у себя дома¹⁾“.

Не щадя предрассудков и пристрастий короля, Ривароль неустанно проповедует ему, что политическая власть всегда

должна опираться на известное соотношение общественных сил, которое в последнем счете и определяет внешние политические формы. Поэтому монархия, если она хочет удержаться, должна суметь опереться на низшие слои населения, на „грязь“, как цинично говорит Ривароль, а через них привлечь на свою сторону буржуазию: „...вы будете иметь на своей стороне и мелкую, и крупную буржуазию“, советует Ривароль, „как только вы привлечете к себе эту сволочь. Грязь, на которой держится власть Людовика XVI, та же самая, которая была под королем Дагобером; если не считать того, что она как-раз то, из чего всегда лепятся империи“¹⁾.

Правоверные роялисты и аристократы никогда не могли простить Риваролю одного факта, а именно того, что он был на голову выше всех их, так как постоянно указывал, что аристократия сыграла свою историческую роль, перестала быть опорой для сильной власти и должна уступить свое место новому классу—буржуазии, выдвигаемому неизбежным ходом исторического развития. Эту горькую истину он дерзко бросал в лицо своим собратьям по оружию и тщетно старался втолковать придворным корреспондентам: „нужно постоянно себе повторять“, пишет он, ту великую истину (*cette grande vérité*), что теперь момент, „когда монархия возобновляется (*que la monarchie recommence*)“. И Ривароль подчеркивает эти последние два слова: „la monarchie recommence“. Нужно обратиться к буржуазии, извлечь из *tiers-état* такую партию, на которую могла бы опереться новая власть²⁾.

Для подкрепления своих доводов Ривароль обращается к прошлому Франции, которое рисуется ему в свете непрерывной борьбы общественных групп. „В 500-ом году и позже до VII века ветер дул со стороны высшей знати, левдов и сеньеров; с восьмого века господствовала церковь. С этого времени короли, опираясь на третье сословие, кончили тем, что подчинили церковь и знать. Во все эти времена ловкость состояла всегда в том, чтобы сообразоваться со временем и каждый раз правильно различать, в чем тайная пружина государства“³⁾.

¹⁾ Rivarol, op. cit., p. 57

²⁾ Ibidem.

³⁾ Lettre a M. De la Porte, 11 septembre 1791, p. 67

¹⁾ Premier mémoire à M. De la Porte. 25 avril 1791. Ecrits et pamphlets de Rivarol. p. 55.

В другом письме к тому же Детапорту, служившему посредником при передаче советов королю, Ривароль объясняет нам, что он понимает под „тайной пружиной государства“. „Из истории мы видим, что французские короли спасались или гибли, смотря потому, как они держались по отношению к самому *сильному классу* своего времени (*la partie forte de leur temps*)¹⁾. „Я хочу пояснить свою мысль“, продолжает Ривароль, „королева Брунгильда погибла потому, что слишком рано взялась за дело Людовика XI—приращение знати. Хлотарь был вынужден не только покинуть свою бабу, но и выдать ее сеньерам, которые составляли тогда настолько *сильную часть* нации, что могли развешивать королей и безнаказанно грабить церковь. В период второй расы королей епископы оказались в положении этой *сильной части*; поэтому-то потомки Карла Великого, не сумев привлечь их на свою сторону, оказались скоро низложенными епископами... Франциск I и Генрих IV называли себя первыми дворянами своего королевства, и эта фраза, которая погубила бы Людовика XVI, им удивительно пригодились, так как эти короли, ведя несчастные войны, могли править только благодаря дворянству, которое и было тогда *сильной частью* государства, господствовавшей в армиях.... Людовики XIII и XIV, сосредоточив в своих руках всю власть и отвлекая внимание народа своими победами и грандиозными предприятиями, управляли, тем не менее, при помощи *сильной части* своего времени, опираясь совокупно на дворянство и церковь“²⁾.

Отсюда сам собою напрашивался политический ход, который должен был в новых условиях консолидировать власть французского монарха. И Ривароль недвусмысленно указывает своему королю на эту новую силу: „деньги теперь все сравнивали“, говорит он, „ибо все преклоняются перед нами... когда одни устои монархии загнили, нужно, чтобы она нашла опору в других. Дворяне и священники ни на что не годятся для королевской власти, так как и для себя самих они бесполезны“³⁾.

¹⁾ Курсив Ривароля.

²⁾ *Rivarol*. Observations.. p. 70—71.

³⁾ *Rivarol*. Observations relatives au discours proposé au roi, remises à M. de la Porte le 4 septembre 1791, p. 68—69. Курсив везде Ривароля.

В этих словах роялист Ривароль, ушедший в 1792 году в эмиграцию, повторяет почти в тех же самых выражениях политическую мудрость, которую проповедывали Барнав и другие революционеры с трибуны Конституанты и якобинского клуба. Между ними разница даже не по существу содержания их социально-политического мировоззрения,—ведь они оба приходят к обоснованию исторических прав буржуазии на власть,—и, тем не менее, суровые условия действительности вызывают непреходимую, ничем не заполнимую пропасть между роялистически настроенным дворянином Риваролем и воинствующим буржуа Барнавом.

Идея классовой борьбы, как двигательной силы революции, останавливала на себе внимание умеренного монархиста на скамьях Конституанты. Малуэ, с которым Барнав близко сошелся на почве пересмотра конституции осенью 1791 года. Малуэ не особенно обольщался „духом независимости“, охватившим французов в 1788 году, и видел, что „духовенство, дворянство, парламенты, третье сословие, каждый хотел расширения прерогатив для себя и для своих“¹⁾. Начало революции носило, по словам Малуэ, характер острой классовой борьбы. „Из этого одновременного столкновения всех корпораций, ударявшихся друг о друга по всем точкам и не соприкасавшихся ни в чем, рождалась в людях обманчивая видимость единодушия в нововведениях, клонившихся к чему-то похожему на свободный строй, который каждым понимался и творился по своему“²⁾. Вылившая роль в революции социальных групп-корпораций, Малуэ и в своих выступлениях, и на страницах мемуаров стремился разрушить ту иллюзию „общей воли“, якобы руководившей французов в создании нового строя, которая проповедывалась тогда революционерами-руссоистами, такими, как Робеспьер, аббат Фоме, Петитон, Рабо-Сент-Этьен и другие.

Барнав и в этом отношении стоит близко к своему противнику справа. Его не интересует теоретическая проблема взаимоотношения между личностью и государством, между частной волей и волей общей, если выражаться на языке

¹⁾ *Malouet*. Mémoires, I, 293

²⁾ *Malouet*, I, 293—294

XVIII века. Подобная постановка вопроса кажется ему чистейшей метафизикой, с которой необходимо бороться в виду крайней вредоносности ее выводов. Там, где Руссо и руссоисты усматривали антагонизм между общей и частной волей, Барнав видит антагонизмы групп, партий, классов, раздирающих общество в постоянной борьбе за свои интересы.

Впрочем, рассуждая чисто теоретически, Барнав допускал не только борьбу, но и мирное сотрудничество, взаимодействие, кооперацию. „Природа“, говорит он, „установила между людьми как соперничество, так и взаимность. Первое толкает людей противиться счастью других, как приносящему ущерб им самим; напротив, взаимность толкает их к покровительству счастья других, ибо они видят в этом свое собственное счастье“¹⁾. Барнав признает одинаково важное значение за обеими склонностями человека и возмущается против односторонности философов, выдвигающих то одну, то другую сторону²⁾. Но так обстоит дело только в сфере индивидуальной психологии и морали; поскольку человек становится общественным существом, определяющими моментами являются не эти частные склонности и симпатии, а те могущественные интересы и стремления, при помощи которых он бывает связан с известной группой, партией, классом, кастой, корпорацией. Вполне последовательно с этим в сфере исторического исследования Барнав учитывает только борьбу и столкновения общественных групп, оставляя факты „взаимности“ вне поля своего внимания, как величины достаточно незначительные, чтобы повлиять на результат конечных выводов. Таким образом Барнав указывает на методологическое значение классовой борьбы в сфере общественных наук. Правда, Барнав был еще далек от систематизации своих идей по данному вопросу, ему удалось бросить всего несколько замечаний по этому поводу; тем не менее, он всегда применял эту точку зрения при изучении подлинной ткани исторической жизни, так что направление, признающее методологическое значение проблемы общественных классов в социальной науке,

может с полным правом указывать на Барнава, как на одного из своих ранних предшественников³⁾.

Рисую борьбу классов на протяжении всей истории, начиная с античных времен и кончая современным ему переворотом, Барнав указывает на две основные антагонистические группы—*аристократию* и *демократию*. То же разделение указывается и Риваролом, особенно на страницах „Национально-политического журнала“; борьба между буржуазией и привилегированным дворянством обычно представляется в публицистических изданиях того времени как борьба „аристократии с демократией“. Подобная терминология легко создавалась под влиянием античных образов в тот момент, когда парижские адвокаты и лавочники в самом деле вообразили себя наследниками древних Брутов и Катонов. Вспомним только Камилла Демулена, старавшегося во всем подражать Светонию и Тациту, или Сен-Жюста, копировавшего лаконизмы Ликурга и Миноса по отрывкам из Плутарха.

Воспользовавшись этим привычным словоупотреблением Барнав, однако, вкладывает в него собственное содержание, понимая под борьбой между аристократией и демократией столкновение определенных экономических групп на почве интересов собственности. Но при этом нужно указать на тот факт, что как под аристократией, так и под демократией Барнав понимает не всегда одни и те же общественные классы. Так, в применении к истории Рима под аристократией у него понимается патрициат, нобилитет, сенат, оптиматы, а под демократией—плебс, народ, армия²⁾. На фоне истории средневековой Европы аристократией становятся победители-германцы, тогда как побежденные народы превращаются в народ, в демократию³⁾. „Тогда Европа“, говорит Барнав, „оказалась разделенной между большими монархиями, в которых государь почти не имел никакой власти, где народ не занимался промышленностью, где существовали два класса людей, из которых один рас-

1) *Barnave* Oeuvres, III, 13.

2) *Barnave* Oeuvres, III, 14

3) Об этом направлении у *С. И. Солнцева* Общественные классы Важнейшие моменты в развитии проблемы классов и основные учения. Петроград, 1923. Введение

2) *Barnave*. Introduction à la Revolution Française. Oeuvres I, 15—16.

3) Ibidem, стр 23—24, особенно 26

полагал силою оружия, являющеюся всем там, где общественная власть не пользуется никаким авторитетом, а другой—обладал властью предрассудков, чрезвычайно важной в народе, отличающемся крайней невежественностью; и тот, и другой классы, владея всеми землями, единственным богатством (капиталом) той эпохи, кончили тем, что закабалили народ и освободились от авторитета государей“¹⁾.

Промышленный подъем позднего средневековья выдвигает на историческую сцену новый класс, „трудюбивый класс городов“, как любит его называть Барнав, который, шаг за шагом, то с королем против дворян и духовенства, то в союзе с последними против короля, отвоевывает себе права, узурпированные привилегированными классами. Наконец, в обстановке современной Европы Барнав под демократией, неустанный рост которой он изображает, понимает уже буржуазию, представительницу движимого капитала (*richesses mobilières*), в противоположность дворянству и духовенству, представляющим аристократические остатки крупного землевладения.

Общественные классы накануне революции группировались следующим образом: два привилегированных слоя, составлявших правительственную машину, были в конце разорены своею роскошью и морально деградировали; против них стояло третье сословие, усвоившее большие знания и еще большие богатства. „Для того, чтобы королевская власть могла удержаться в подобной конъюнктуре, нужно было бы, чтобы трон был занят или тираном, или великим человеком. Тиберий сумел бы сохранить свою власть, окончательно поработив и принизив свой народ. Карл Великий удержал бы свое влияние, призвав к реформам, в которых он сам был бы и умеряющим началом, и главой, и арбитром. Людовик XVI не был ни тем и ни другим... Если и был способ предупредить взрыв, он состоял в том, чтобы допустить народ к управлению и открыть все двери для третьего сословия; сделали же как-раз прямо противоположное“²⁾.

Уже из последней фразы видно, что Барнав в самой „демократии“ различает два класса — „народ“ и „третье сословие“. Правда, иногда он нечувствительно смешивает оба эти класса, противопоставляя их общие интересы интересам дворянства и духовенства. Но чаще всего он проводит между ними различие, коренящееся в „самой природе вещей“. Буржуазия—это прежде всего „*собственники*“, связанные с государством реальными интересами; они одни выступают у Барнава в роли сознательных, истинных граждан (*les hommes pensants, les propriétaires*), на которых государство должно опираться. В критические моменты Барнав особенно любил прибегать к этому аргументу, трезвой положительностью своих доводов увлекая за собой мятущуюся идеалистическую Конституанту¹⁾. Иногда Барнав еще точнее очерчивает социальный об'ем этого класса, определяя его, как *la classe moyenne*—средний класс, среднюю буржуазию, которой он противопоставляет, с одной стороны, *la classe supérieure, les riches propriétaires*—высший класс крупных собственников, образовавшийся частью из остатков прежней знати, частью из разбогатевших буржуа, а с другой стороны, *la classe des ouvriers*—класс рабочих, безземельных крестьян, несобственников, на лишении избирательных прав которых он настаивал в своей нашумевшей речи 11 августа 1791 г.²⁾.

Как видно из самих определений, у Барнава везде разграничение проведено по экономическому признаку. Противопоставляя война купцу, Барнав говорит: „торговля образует (формирует—*forme*) многочисленный класс, любящий внешний мир, спокойствие во внутренних делах и привязанный к установленному правительству; благодаря торговле, образуются крупные состояния, которые в республиках порождают могущественную аристократию. Вообще, обогащая города и их жителей, умножая рабочий класс, давая широкий простор капиталам (*richesses*)... торговля укрепляет демократический элемент и предоставляет крупное влияние в правительстве народу и городам“³⁾.

¹⁾ Ibidem, p. 27—28

²⁾ *Barnave*. Introduction . Oeuvres, I, 83—84.

¹⁾ Речь Барнава на заседании 21 июня 1791 г.

²⁾ Oeuvres de Barnave, II, 15, 137—138

³⁾ Oeuvres, II, 137—138

Мы знаем, что класс в понимании Маркса является чисто экономическим понятием; более того, Маркс в понятии класса выдвигает не статический, как я бы выразился, момент, а момент динамический, создание самих ценностей, способ происхождения тех элементов, которые образуют собственность, будь она феодальной или капиталистической — все равно. Место, занимаемое людьми в этом процессе создания собственности, и определяет их место в социальной структуре общества. Поэтому Маркс различает три главных класса в современном — капиталистическом, по происхождению ценностей, — обществе: земельных собственников, капиталистов и рабочих ¹⁾.

Так ли это у Барнава? Какова у него концепция класса, вот вопрос, интересующий нас в данном случае. Барнав, как видно из приведенных выше цитат, говоря о том или о другом классе, не забывает каждый раз указать на экономическое происхождение данного класса. В этом отношении очень интересны и ценны его указания на то, как хищническое присвоение земель и мобилизация недвижимой собственности создает класс феодалов, как рост торговли, развитие ремесл и промышленности выдвигают на сцену „трудолюбивый класс городов“, как развитие движимой собственности, капитала — Барнав так прямо и выражается — создает новую аристократию — „буржуазную аристократию“ (*l'aristocratie bourgeoise*), вытесняющую шаг за шагом с исторической сцены представителей отживших видов собственности. Весь главный труд Барнава — „Введение во Французскую революцию“ — является развитием и доказательством этого основного положения. И поскольку речь идет о характеристике общего уклона исторической эволюции, Барнав является действительно наиболее ярким предшественником марксистской концепции класса. Эта сторона изучаемых взглядов Барнава и бросилась в глаза Жоресу.

И, тем не менее, классовая концепция Барнава существенно разнится от понимания класса у Маркса. Впрочем, иначе и быть не может, так как в основе их построений, как мы видели различные понимания собственности. В то время, как Барнав выдвигает условия хозяйственного труда вообще, в широком смысле этого слова, понимая под ними и материальные, и духовные условия хозяйственной деятельности общества, Маркс настаивает на материально-технических условиях, порождающих собственность, считая все другие элементы труда только производными обстоятельствами основного производственного момента.

Маркс поступает, как последовательный философ-материалист, стремящийся свести к определяющему единству все разнообразие признаков, характеризующих социальный институт собственности; напротив, Барнав, идеолог-эклектик, признает необходимым, вполне в духе своей школы, обратить внимание на важность социально-распределительной и юридически-нормативной стороны собственности.

Уяснив себе этот пункт, нам нетрудно будет теперь доказать, что и понимание общественного класса у Барнава разнится от позднейшей марксистской концепции. Если Маркс усматривает все своеобразие класса, как социального элемента, в том, какое место последний занимает в процессе „производства жизни“, то Барнав естественно и вполне в унисон со своим веком прежде всего указывает на то, какое место каждый класс занимает в распределении богатств. Процесс накопления ценностей материальной жизни учитывается им только в своем конечном результате, в виде подсчета доходов, увеличения состояния одних и обеднения других. Барнав прямо говорит нам, что „новое распределение собственности (*nouvelle distribution de la richesse*) порождает новое распределение власти. Подобно тому, как владение землей возвысило аристократию, промышленная собственность возвысила власть народа“ ¹⁾.

Теперь нам ясно, какое содержание вкладывает Барнав в понятие владения землей (*possession des terres*). На первом плане для него *distribution* — общественный раздел материальных благ; по сравнению с Марксом, проблема распреде-

¹⁾ Как известно, среди марксистов до сих пор нет единодушия насчет того, сколько общественных классов признавал Маркс. Одни полагают — два, другие — три, наконец, третьи — несколько. Мне кажется, если следовать экономическому учению Маркса, изложенному в „Капитале“, придется остановиться на трех основных классах общества, рядом с которыми Маркс допускал существование различных социальных прослоек. Отмечу, что эта классификация ведет свое начало еще от Тюрго и Адама Смита.

ления, обмена этих благ заслоняет для него вопрос о производстве, об экономическом происхождении этих самых благ. Поэтому там, где Барнаву приходится касаться вопроса о происхождении того или иного класса, он принужден ограничиваться общими замечаниями, в роде того, например, что „земельная собственность является основанием аристократии, тогда как движимая собственность является принципом демократии“, или, что торговля „формирует“ „порождает“ в городах класс могущественной денежной аристократии ¹⁾).

Методологически Барнав различает таким образом *происхождение* явлений от *содержания* самого явления, в результате чего оказывается, что, хотя класс действительно возникает на почве экономических интересов, но сам по себе не оказывается чисто экономическим понятием. Отсюда для него является возможным считать существенными, определяющими признаками в понятии класса не только признаки экономические, но также признаки политические, юридические, моральные, психологические и так далее.

Итак, в то время, как у Маркса класс характеризуется той ролью, какую он занимает в производстве богатств (в смысле благ), Барнав обращает главное внимание на распределение самих богатств и на отражение этого в сфере политической.

У Маркса в понятии класса преобладает элемент технико-производительный, у Барнава — социально-распределительный. Разница между классовыми концепциями у обоих мыслителей знаменует собою не просто теоретическое расхождение между ними, но неизбежное отражение тех общественно-экономических условий, среди которых приходилось жить и работать каждому из них. Но тут уж встает вопрос *почему*, который выходит за пределы нашей задачи — показать, *как* в XVIII веке представляли себе основные понятия учения, которому суждено было образовать наиболее последовательную систему номотетического построения истории.

ГЛАВА V.

Конечный исторический синтез.

Слишком полвека спустя после событий, бурная стихия которых унесла с собой Барнава, Алексис Токвиль старался уяснить себе ту „истину, что все современные люди увлечены какою-то неведомою силой, которую можно надеяться урегулировать и замедлить, но не победить, и которая то медленно толкает, то с силой мчит их к уничтожению аристократии“. В таких выражениях Токвиль говорил о том всепоглощающем развитии демократии, которое готовилось затопить всю Европу и снести последние остатки старого общественного уклада.

Та же приблизительно задача стояла и перед Барнавом, когда летом 1792 года он взялся за перо с тем, чтобы написать свое „введение“ к революции. „Нельзя составить себе надлежащего понятия“, говорит он, „о той великой революции, которая взволновала Францию, рассматривая ее изолированно, вне связи с историей соседних государств и предшествующих веков. Чтобы определить ее характер и обнаружить ее истинные причины, необходимо расширить кругозор, надлежит определить место, занимаемое нами в более обширной системе: рассматривая то общее движение, в силу которого со времен феодализма до наших дней в европейских государствах последовательно изменялась форма правления, можно будет точно определить как наше теперешнее положение, так и причины, благодаря действию которых мы до него дошли... Именно этот ход развития, общий всем европейским образам правления, подготовил во Франции демократическую революцию и привел к тому, что она вспыхнула в конце XVIII века“ ¹⁾.

¹⁾ Oeuvres de Barnave, I, 33, 34, II, 137—138, 141.

¹⁾ Introduction a la Révolution Française. Oeuvres, t I, p 1, 2

Барнав чувствовал настоятельную потребность разобратъся в том, что происходило на его глазах, в чем сам он играл далеко не последнюю роль, и отдать себе трезвый отчет в случившемся и в готовящемся произойти. Прежде всего он обратился к книгам, но на этом пытливым пути современные историки и философы не удовлетворили его. Обращаясь к ним, он писал: „Историки моего века, каковы те заслуги, которых вы ищете? Точность в датах, открытие какого-нибудь бесполезного анекдота, младенческое легкоеверие, приятный или глупо поэтический стиль. Содержит ли ваша книга хоть одну плодотворную мысль? Напротив, она тонет обычно в окружающих ее деталях, загромаждающих память, затемняющих понятия и препятствующих обнять целое. Нужно быть гением, чтобы отрыть одно жемчужное зерно (le grain d'or) в той грязной смеси, которая его окружает. Вы не удовлетворяете даже моего любопытства“¹⁾.

После такого резкого выпада против современных ему историков, любопытно узнать, чего же хочется Барнаву видеть в исторических трудах? „Я хотел бы человека“, говорит он, „который дал бы мне возможность наблюдать в общей картине основные перемены (vicissitudes) в жизни народов и стран, их переселения, смешения между собой, их происхождение. Возможно ли наличие (в едином труде) хорошо подобранных (bien fait) элементов всеобщей истории, написанных человеком без предрассудков, с талантом, равным таланту Монтескье и только усовершенствованным более зрелой философией; эта книга была бы неоценимой, если бы в ней при большей глубине было больше простоты, стройности и ясности“²⁾. Таков идеал научно-исторического синтеза, который рисует перед собою Барнав, отпавляясь все от того же Монтескье, не переставшего казаться ему непревзойденным образцом прагматического изложения всемирной истории.

У других историков, пытавшихся понять эволюцию новой Европы, он видит постоянную методологическую ошибку — приписывать разным случайным причинам тот конечный результат крупных общественных переворотов,

который обуславливается неизменным единством основных могущественных сил исторического процесса. Легкомысленное отношение к фактам, абстрактное плавание в философском тумане, школьная односторонность и партийность — вот наиболее серьезные упреки, которые Барнав обращает к историкам и философам своего времени¹⁾.

Впрочем, подобные же упреки по адресу историографии XVIII века раздавались и раньше. В этом отношении особенно интересны замечания маркиза Де Шастелю (marquis de Chastellux), автора об'емистого труда „Об общественном счастье или размышления о положении людей в различные эпохи истории“²⁾. Маркиз Шастелю не раз упрекает своих современников в отсутствии трезвого исторического взгляда на вещи. „Древние римляне“, говорит он, „изобиловали законодателями; теперь, напротив, изобилие реформаторов. Первые часто вдавались в довольно легкомысленные спекуляции, вторые, под влиянием момента, сообразовались только с частными изолированными обстоятельствами“³⁾. По мнению его, „теперь наступило время строить на более обширных и более солидных основаниях“, а потому он обращается к своим читателям с убеждением: „итак обратитесь к фактам, а не к метафизическим абстракциям... к истории, в особенности к тем авторам, которые творили ее без тенденции...“⁴⁾. И действительно, Шастелю дает трезвый очерк истории человечества от средних веков до своей эпохи, где объясняет смену общественных форм ростом народонаселения и смелыми штрихами набрасывает картину прогресса социальных отношений. Вольтер очень высоко ставил это произведение, считая его лучше „Духа Законов“, и снабдил его своими примечаниями. Об'ективная трезвость Шастелю не осталась, вероятно, без влияния и на Барнава.

Проповедуя „право факта“, Барнав, таким образом, не являлся особенным новатором, энциклопедическая школа

¹⁾ Oeuvres, I, 62, 65.

²⁾ *De la félicité publique* ou considérations sur le sort des hommes dans les différentes époques de l'histoire. Nouvelle édition, augmentée de notes inédites de Voltaire, 1822.

³⁾ *Chastellux*. De la félicité publique, t II, III section. Ch IX.

⁴⁾ *Chastellux*, op. cit., t. II, 205 222.

¹⁾ Oeuvres de Barnave, IV, 249.

²⁾ Oeuvres de Barnave, IV, 250

во главе с Вольтером неустанно твердила об этом, хотя сама постоянно сбивалась и подчиняла не философию фактам, а факты философии ¹⁾).

Впрочем, для одного историка, близко стоявшего к компании Дидро, Барнав делал снисхождение. Этим философом и историком был забытый теперь аббат Гильом-Тома Рейналь. К нему у Барнава существовало совершенно особое отношение, напоминающее снисходительное отношение ученика, превзошедшего своего учителя, но неизменно обязанного ему. Барнав как-то признавался, что умозрения Рейналя бросают его „в океан сомнений“, что наблюдения этого философа, „всегда гениальные, часто поучительные, но не продуманные“, нуждаются в исправлении „здорового ума“. В другом месте он отмечает, что „голова у Рейналя плодovitа... он легко входит во все идеи“, но в то же время это „нетерпеливый энтузиаст и болтун“ ²⁾.

Ближайшее ознакомление с историческими работами Рейналя обнаруживает, какое сильное влияние он оказал на Барнава в деле подведения последних исторических выводов под пестрым материалом фактов, относящихся к эволюции европейских обществ со времени позднего средневековья до кануна революции. Но для того, чтобы правильно оценить то, чем Барнав был обязан Рейналю, необходимо несколько остановиться на этой любопытной фигуре ³⁾.

Рейналь, как историк, вполне сказался в своей обширной „Философской и политической истории европейских учреждений и торговли в обеих Индиях“ ⁴⁾. Талантливый

вульгаризатор филантропического материализма Гетьвеция и Гольбаха, Рейналь оказался более оригинальным в сфере исторических исследований, попытавшись применить идеи материалистического кружка философов, во главе которого стоял Дидро, к области явлений прошлого. Самостоятельность „Философской истории“ не раз подвергалась сомнениям; указывалось даже, что труд Рейналя представляет скорее сборник статей, особого рода журнал, ответственным редактором которого был он сам. Если верить злобному Мельхиору Гримму; то, по крайней мере, треть сочинения нужно отнести на счет Дидро ¹⁾. Однако, ближайшее сопоставление исторических идей главы энциклопедистов и Рейналя не подтверждает этого замечания; Дидро, как известно, довольно свободно обращался с историческим материалом и стремился только к тому, чтобы придать выражениям Рейналя более радикальный и смелый тон.

Кто возьмет на себя труд познакомиться с этим популярнейшим в XVIII веке историческим произведением, может легко убедиться, что Рейналь дал довольно цельную картину того, что теперь принято называть *Kulturgeschichte* — историей культуры, взяв за исходный момент событие, которое представлялось ему кардинальным фактом истории нового времени, а именно открытие „обеих Индий“. „Тогда“, по его мнению, „начался переворот в торговле, в отношении могуществе наций, в нравах, промышленности и в формах управления всех народов... все тогда изменилось и еще должно измениться“ ²⁾. Эта экономическая, социальная и политико-международная революция объясняется им тем основным фактом, что вообще торговля, обмен играли огромную роль в истории. Вследствие этого он предвзвешивает свой труд введением, в котором рисует историю торговли, начиная с древних финикийцев и кончая европейскими народами накануне великих открытий ³⁾. Этот предварительный очерк и теперь читается с интересом, так в нем последовательно изучается эволюция институтов внутреннего и международного обмена, торговых институ-

¹⁾ См. напр., методологические замечания Вольтера, как обращаться с вещественными памятниками, играющими роль исторических источников — *Essai sur les moeurs et l'esprit des nations*. Ch. CXCVII.

²⁾ *Oeuvres de Barnave*, IV, 278—279. — См. также II, 146, 149.

³⁾ Рейналь оказался основательно забытым даже у себя на родине, изобилующей работами по философии XVIII века. Лишь в последнее время в связи с изучением корней исторического материализма, на него обратили внимание Зульцбах и Кунов. Последний, как мне кажется, неправильно приписывает Руссо влияние на исторические идеи Рейналя. Последний всегда указывал на свою духовную связь с энциклопедистами, теоретические построения которых в области морали вполне разделялись им.

⁴⁾ *Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes*. Я пользовался еще анонимным 7-томным изданием, помеченным „A la Haye, MDCC LXXIV“. Первое издание вышло в 1770 г. когда аббату было уже 60 лет.

¹⁾ *Ed. Scherer. Etudes sur la littérature au XVIII siècle*, p. 278—279.

²⁾ *Histoire philosophique*, t. I, 1—2.

³⁾ *Ibidem*, p. 3.

тов и политики, при чем у автора постоянно проскальзывает тенденция сводить все социальные, политические и идеологические явления „в конечном счете“ к влиянию видоизменяющихся форм обмена и распределения благ. Это вполне выдержанная экономическая интерпретация истории, где последовательно подчеркивается непроизвольность, спонтанная стихийность смены одних общественных форм другими, вопреки и независимо от воли людей, ставящих свои маленькие, ограниченные цели. Так „безумные экспедиции крестоносцев“ принесли свои положительные результаты в виде возникновения обмена между Западом и Востоком, в росте потребностей и вкусов среди знати, пребывавшей до того в варварском невежестве ¹⁾. Экономический подъем итальянских торговых республик является непосредственной причиной так называемого Ренессанса, расцвета наук и искусств; сукожные мануфактуры и ткацкие фабрики превращают Фландрию в цветущую страну и обуславливают политический рост Голландии ²⁾.

Соотношение различных сторон исторического развития понимается Рейналем в том смысле, что материальные потребности и интересы, как наиболее простые и первичные, определяют все остальные. Правда, усвоенная им моральная система, представляющая популяризацию „этократии“ Гельвеция и Гольбаха, — по которой человек устроит свою общественную жизнь по образцу нравственных принципов, изложенных в законодательстве, — расходится с указанным экономическим пониманием истории, но пока Рейналь остается только исследователем исторической жизни, он является более последовательным предшественником материалистического воззрения на историю, чем его учителя Гельвеций и Гольбах.

В подтверждение укажем, как понимается им процесс крестьянской эмансипации, знаменовавшей ломку старых феодальных отношений, и наступление новой социальной эры. По этому поводу он вступает в спор с самим „президентом Монтеस्कье, приписывавшим честь уничтожения рабства в Европе христианской религии“.

Рейналь „осмеливается“ на этот счет свое суждение иметь и заявляет: „только когда промышленность и торговля распространились среди народа (peuple), князья стали считать его на что-нибудь годным (pour quelque chose). Только когда народные богатства показались полезными королям в их борьбе против баронов, законы улучшили положение народа. И тут как-раз здравая политика (saine politique), которая всегда порождается торговлей, а не духом христианской религии, заставила королей объявить свободными рабов своих вассалов; ибо рабы, переставая быть рабами, становились подданными. Правда, что папа Александр III объявил, что христиане должны быть изъяты из рабства, но сделал он это только из желания понравиться французскому и английскому королям, желавших унижить своих вассалов. Христианская религия настолько мало спасает от рабства, что в католической Германии, в Богемии, Польше, в странах весьма католических, народы все еще пребывают в состоянии рабства; и церковные владения здесь сами имеют сервов, как некогда они владели ими у нас, при чем церковь не находит это дурным“ ¹⁾.

Крестовые походы знаменуют для Рейналя первый удар по сложившимся формам феодального хозяйства, „когда люди были еще бедны, а налоги взимались в натуре“ (les impôts se levoient en nature) ²⁾. Для поддержания „этих экстравагантных экспедиций“ феодалы должны были продавать свои земли и уступать своим вассалам ценою золота некоторые привилегии. „Тогда-то“, говорит Рейналь, „и начала водворяться собственность среди частных лиц (parmi les particuliers) и дала им тот род независимости, без которой сама собственность является только иллюзией. Таким образом, первые искры свободы, озарившие Европу, были неожиданным результатом крестовых походов“ ³⁾. Вместе с тем обострились классовые отношения, и началась борьба вокруг собственности. „Все нации, повидимому, разделились на две непримиримых части. Богатые и бедные, собственники и наемники, т. е. господа и рабы, образовали два

¹⁾ Histoire philosophique, t. I, 15—16.

²⁾ Ibidem, p. p. 20, 22—23, 30

¹⁾ Histoire philosophique, t. I, 21; курсив мой.

²⁾ Ibidem I, 11—12

³⁾ Ibidem, I, 95—96.

класса граждан, по несчастью, борющихся друг с другом“. Далее, полемизируя, главным образом, со школой экономистов, Рейналь трезво замечает: „напрасно некоторые современные писатели пытались с помощью софизмов установить какой-то мирный договор между этими состояниями. Повсюду богачи будут добиваться получить бедняка за возможно дешевую плату, повсюду бедняк будет стремиться надбавить цену за свой труд—но богач всегда будет творить закон на этом весьма неравном рынке (et le riche fera toujours la loi, dans ce marche trop inégal) ¹⁾“.

Влияние новых экономических условий не ограничилось только областью общественных отношений; собственность и связанная с ней промышленность содействовали наступлению „некоторого равновесия в моральном и гражданском строе обществ“,—как выражается Рейналь ²⁾. Здесь философ касается весьма сложной проблемы соотношения между экономической и социальной сторонами исторического развития и сферой духовных проявлений, человеческих „форм сознания“. „Человек непрестанно борется с природой“, говорит Рейналь: „он бесконечно изменяет ее и сам непрерывно изменяется ею. Народы выкраиваются и формируются сообразно с осуществляемой ими деятельностью“ ³⁾. Уже из этого заявления, так напоминающего Маркса, видно, в какую сторону решит Рейналь проблему взаимодействия; впрочем стоит труда проследить, как это общее положение применяется к конкретному историческому материалу.

Следуя экономической доктрине физиократов, популярной у материалистов (вспомним Гельвеция, Гольбаха и самого Барнава), Рейналь полагает, что все материальные блага в последнем счете порождаются земледельческим производством; тем не менее, промышленность, раз появившись, становится самостоятельным фактором, определяющим развитие других сторон жизни. „Мануфактуры содействуют прогрессу просвещения и знаний“, указывает Рейналь,

„факел индустрии одновременно освещает обширный горизонт. Ни одно искусство не является изолированным; у большинства из них являются общими: формы, способы, инструменты или другие элементы. Одна механика содействовала чудодейственному росту изучения математических наук. Все ветви генеалогического древа знаний развивались вместе с прогрессом искусств и ремесел. Рудники, мельницы, суконные фабрики и красильное производство увеличили сферу физики и естественной истории“ ¹⁾. Когда Энгельс уже на закате своих дней писал: „Если техника... в значительной мере зависит от состояния науки, то наука, в свою очередь, зависит еще в большей степени от состояния и потребностей техники. Имеет ли, например, общество какую-нибудь техническую потребность? Для прогресса наук это имеет большее значение, чем десять университетов“ ²⁾, он вполне соглашался с выводами этого забытого философа XVIII века, что развитие техники или технологический прогресс являются причиной роста отвлеченных знаний ³⁾.

Сообразно с этим, „как только Европа покрылась мануфактурами, течение мыслей и чувств человека, кажется, переменило свой наклон“. Этот новый уклон в мыслях европейского человека, отмечаемый Рейналем на рубеже от средних веков к новому времени, немедленно отразился в том, что „охладил религиозную ненависть, разделявшую людей“. Новые впечатления, новые переживания, самое „многообразие предметов, которые промышленность доставила уму и чувствам (a l'esprit et aux sens), раздробило привязанности человека и ослабило энергию его страстей“. Характеры смягчились, и догматизм должен был погаснуть, подобно рыцарству, подобно другим маниям бездеятельных народов (peuples desœuvrés) ⁴⁾. Причины этого переворота в нравах еще более значительно отразились на правительствах: одним из подобных отражений было „восстание против деспотизма Церкви“ ⁵⁾. Так постепенно подходит

¹⁾ Histoire philosophique t VII, 149—150.

²⁾ Histoire philosophique, I, 193.

³⁾ L'homme est aux prises avec la nature: sans cesse il la modifie, et sans cesse il en est modifié. Les peuples sont taillés et façonnés par les arts qu'ils exercent.—Histoire philosophique et politique, t VII, 294

¹⁾ Histoire philosophique et polit VII, 319.

²⁾ Der Soz Akademiker, 15 Okt. 1895.

³⁾ См у Рейналя, т. VII, 321

⁴⁾ Histoire philosophique, t. VII, 194; 321.

⁵⁾ Ibidem, а также т. I, 30—32.

Рейналь к другому кардинальному событию истории новой Европы, к реформации; но, наметив основные линии материалистического объяснения этого первостепенного события духовной культуры, он оставляет перо, чтобы никогда уже более к нему не возвращаться. Ниже мы увидим, что Барнав воспользовался этими брошенными мыслями, дав материалистическое понимание эпохи религиозных движений в Европе. Но прежде, чем к этому перейти, нужно отметить, что Рейналь вполне сын своего века, он самый буржуазный из всех буржуазных философов рационалистического века. Если у Гельвеция, а в особенности у Гольбаха мы находим следы социального аристократизма, отразившиеся особенно в их симпатиях к просвещенному абсолютизму, то Рейналь всецело на стороне новой демократии и дает такую смелую апологию денег, золота, производительности, которая не могла не остановить на себе пристального внимания буржуа-Барнава и дать ему надежную нить к пониманию современности ¹⁾.

Но прежде всего мысли Рейналя, разбросанные нередко в поэтическом беспорядке, помогли Барнаву окончательно уяснить себе смысл современной эволюции и найти опорную точку при попытках дать синтез тем наблюдениям, которые у него накопились в результате революционного опыта и размышлений над причинами, обусловившими возвышение демократии во Франции в конце XVIII века.

Барнав как-раз начинает с того, где Рейналь кончает; интересы последнего группируются, главным образом, вокруг эпохи великих открытий, исторические экскурсы в другие времена являются для него дополнительными иллюстрациями к главной картине. Напротив, Барнава интересует как-раз эволюция новой Европы и тот фатальный успех демократических начал, следы которого он замечает то там то здесь.

Прежде всего он устанавливает „три стороны революции“, произведенной в европейских установлениях развитием движимой собственности (*propriété mobilière*):

¹⁾ См., напр., t. VII, p. 294. Тут, возражая тем философам, которые видели в простоте и примитивности жизни первое условие государственного здоровья, Рейналь говорит, что времена изменились, и сила теперь на стороне денег.

1) аристократия последовательно теряет свои богатства и власть,

2) прогресс индустрии освобождает Европу от духовной власти пап и вырывает из-под его супрематии пол-Европы, и, наконец,

3) он же изменяет в различных государствах политические порядки и государственный строй ¹⁾.

Пестрая прагматическая канва событий, частные столкновения и борьба только отражают влияние этих основных сил, непреложное и фатальное действие которых обуславливается общей закономерностью и правильностью, царящей во всей природе.

Два события особенно интересны в этом отношении—это крестовые походы и реформация Лютера. Если первые уменьшили влияние феодализма, то вторая ударила по средневековой организации церкви. Полемизируя с другими историками, искавшими разных причин этих явлений, Барнав говорит: „Унижения, испытанные пилигриммами со стороны турок, проповеди Петра-эреmitа, скандал с индульгенциями и злобная мстительность монаха Лютера вовсе не были настоящими причинами этих грандиозных потрясений... После того, как эти события были подготовлены общими фактами, всегда мог оказаться какой-нибудь случай для того, чтобы их вызвать“ ²⁾.

Духовенство приобретает огромные богатства и основывает свою „абсурдную власть“ на общем невежестве, на слабости народа и на падении королевской власти вследствие господства феодального режима. „Отвратительная тирания притесняла королей, знать и народ, присваивала себе владения, отправляла или приписывала себе отправление всей гражданской и политической власти“ ³⁾.

„Эта власть, противореча интересам всех, могла существовать лишь по столько, по сколько сохраняли силу те социальные элементы, которые некогда содействовали ее возвышению. Как только распространилось просвещение, как только народ, освободившись, узнал довольство и по-

¹⁾ Introduction, ch. V, Oeuvres, I, 19—20.

²⁾ Introduction, ch. VII, Oeuvres, I, 37, 38.

³⁾ Oeuvres I, 39.

чувствовал свою силу, как только короли, выйдя из-под опеки, смогли проявить независимую власть, это грандиозное здание сразу потеряло под собой почву, и достаточно было легкого толчка, чтобы его опрокинуть; поэтому-то первые слова Лютера оказались как бы искрой, упавшей на кучу горючего материала. За время своего многовекового существования римская церковь не раз подвергалась нападениям со стороны различных сектантов; многие из них не уступали главе реформации ни по характеру, ни по талантам, и однако, несмотря на все их усилия, римская церковь не переставала расти в своем величии; но когда пробил час ее падения, несмотря на весь ее видимый блеск, для нее оказался опасным один единственный человек. Часть Европы пошла за новаторами и освободилась из-под власти римской церкви, и, если ей все же удалось сохранить за собой остальное, то только ценою последовательных отказов от своих наиболее драгоценных прав, жертвуя без конца реальной властью с целью сохранить за собой ее представительство¹⁾.

Теперь, после Ранке, Эгельгаафа и Бецольда нас не удивляет подобная концепция духовной революции XVI века, но для людей, видевших Вольтера и Руссо, такая постановка вопроса могла показаться самым смелым новаторством. Мысль, брошенная Рейналем о внутренней связи между хозяйственным переворотом, обусловленным эпохой великих открытий, и „ослаблением фанатизма“ претворяется Барнавом в последовательную социально-экономическую интерпретацию реформационного движения. Подобно Рейналю (и в этом, между прочим, сказывается влияние последнего даже с внешней стороны) оба кризиса—крестовые походы и реформация—сопоставляются Барнавом как необходимые этапы в процессе постепенного отмирания власти знати и духовенства.

Следующим этапом в процессе этого естественного декаданса был „демократический взрыв“ в Англии. Барнав очень хорошо чувствовал связь обеих английских революций с той революцией, в которой ему пришлось выступить самому. „Так как сила народа все время возрастала“, гово-

рит он, „в то время, как аристократия все принижалась, демократический взрыв (*l'explosion démocratique*) в Англии предварил соответствующий взрыв во Франции на 150 лет“. Нельзя не отметить, что в данном случае Барнав несколько преувеличивает демократичность английского взрыва, затронувшего, главным образом, зажиточных джентри и горожан. Но в общем историческая перспектива схвачена правильно: в ряду революций, поднятых против абсолютизма, Англия, конечно, предваряет континент. В этом отношении историки эпохи реставрации—Гизо, Каррель, Тьерри—ничего не прибавили к основной идее Барнава¹⁾.

Вопрос, почему в Англии скорее назрели демократические силы, вступившие в смертельную борьбу с абсолютизмом, не раз привлекал к себе внимание Барнава, всюду старавшегося за видимым разнообразием *событий* нащупать строгую законосообразность *состояний*. К разрешению этой проблемы он подходил с самых различных точек зрения: прежде всего он обращался к тому явлению, которое казалось ему самым первичным детерминантом исторических событий—к влиянию естественной среды и географического положения. Островная особенность Англии и резко выраженный морской облик этой страны очень удачно согласовались с той ролью, которую Барнав, как верный ученик Монтескье, придавал физическим условиям²⁾. Но физико-географические условия определяли, так сказать, историческую сцену, не предопределяя роли самих участников исторической драмы. Для изучения последних Барнав обращался к английским общественным отношениям, поскольку они выразились в веками сложившейся конституции страны. Последняя казалась ему „достойным чуда стечением обстоятельств“, причинно-следственную связь между которыми он все же старался установить.

Барнав по всей справедливости может считаться первым по времени историком, широкими мазками набросавшим общий ход английской конституционной эволюции. Многие из его мыслей и замечаний не устарели до сих пор и

¹⁾ Introduction, Ch. XI, § 2 Oeuvres I, 78—79.

²⁾ Introduction, Ch. XI, § 2, *passim*.

только сравнительно недавно получили удовлетворительное документальное обоснование ¹⁾.

Предваряя историков реставрационной эпохи, Барнав первый обратился к истории английских революций, пытаясь в их стремительном беге угадать судьбы, ожидающие революционную Францию. В его „Политических размышлениях“ имеется любопытная глава „Источники и ход исторического развития английского правительства“ (*Sources et progrès historiques du gouvernement anglais*) с подзаголовком „Для справок при рассмотрении французской революции“ (*A consulter pour la révolution française*). Тут Барнав небрежно, торопливо бросает мысли, намеки, указания, которыми как-будто бы воспользовались Гизо, Огюстен Тьерри, Арман Каррель, пристально занявшиеся происхождением английских представительных учреждений ²⁾.

Главным авторитетом при изучении английских революций был и долго оставался Давид Юм. С него начали Жозеф де Местр, Годвин и Гизо. От него отправлялся и Барнав. Но в то время, как английский философ в религиозной окраске всего движения усматривал проявления простого „фанатизма“, Барнав сумел понять это обстоятельство, отметив в „страсти к религиозным реформам“ особую форму „брожения общественного мнения“ (*la fermentation d'opinion*), в которую отливались демократические интересы в их борьбе с абсолютизмом ³⁾. „Впоследствии во Франции“, замечает Барнав, „эти же демократические интересы повели борьбу под покровом страсти к философизму (*la passion du philosophisme*)“ ⁴⁾.

Барнав отмечает и другие пункты сходства между революцией в Англии (он понимает, главным образом, первую) и переворотом во Франции. Прежде всего, и там, и тут борьба социальных интересов вылилась в столкновение трех политических групп. Барнаву кажется, что Страффорду, пресвитерианам и индепендентам соответствовали во Франции:

¹⁾ *Oeuvres de Barnave*. II, 231—238. Любопытно сравнить эти замечания Барнава со взглядами Стеббса, Поллока и Мэтланда, Протеро, Пти-Дютайи и Бутми, построенными на строго проверенном фактическом материале.

²⁾ *Réflexions politiques*. Ch. XV и XVIII. *Oeuvres* II, 69—71, 73—74.

³⁾ *Introduction*, I, 79.

⁴⁾ *Ibidem*.

политики типа Мунье, конституционалисты и республиканцы. Аналогия не совсем удачна, так как приходится заметить, что Мунье никогда не играл во Франции той роли, какая выпала на долю Томаса Уэнтворта в Англии ¹⁾.

От исторического взора Барнава не укрывается, впрочем, та своеобразная социальная обстановка и то неповторяемое кипение страстей, которыми характеризуются события в Англии. Он понимает, что всякая аналогия верна только до известной степени, и спешит сказать: „но все же существует огромное различие между характерными чертами английской революции и нашей“.... Эта особенность прежде всего проявляется в самом положении Англии и как страны, и как государства: „Англия была более изолирована в своей революции, чем мы, и в гораздо меньшей степени могла подвергаться влиянию заграницы“ ²⁾.

Но, самое главное, во Франции шла борьба против аристократических привилегий дворянства, тогда как английская революция „до последнего момента была направлена против церковной аристократии, хотя большинство знати и оставалось роялистическим“ ³⁾.

Симпатии Барнава скорее на стороне английской революции, так как на отдалении столетия с лишком она представляется ему более консервативной, чем та, которую ему пришлось пережить. „Когда Карл II вернулся (на престол), говорит Барнав, „он застал вещи почти на старом положении, так как парламент и королевская prerogative были учреждениями древними и установленными обычаем; с тех пор коммуны умеренно ограничили королевскую власть; а у нас хотели все перестроить заново, не оказалось ни одного влиятельного обычая, с которым можно было бы посчитаться; все хотели перестроить на естественном праве...“ ⁴⁾.

Исторические судьбы готовили Франции другой темп развития. Прежде всего, как более континентальная страна, она развивалась медленнее островной Англии; затем, большие пространства ее земель породили могущественную

¹⁾ *Réflexions politiques*, ch. XV. *Oeuvres*, t. II.

²⁾ *Ibidem*.

³⁾ *Ibidem*.

⁴⁾ *Réflexions politiques*, I, 70—71.

аристократию, влиявшую на направление государственной политики. Благодаря этому, „наибольший расцвет королевской власти в Англии падает на время Елизаветы, а во Франции на время Людовика XIV“¹⁾. Абсолютизм Тюдоров едва сдерживал демократический напор рано созревшего народа; „демократия сбросила и снова восстановила на престоле Стюартов и с XVI века не переставала быть принципом всех движений и главной опорой государства“²⁾.

Аналогичные силы во Франции созрели значительно позже.

Кардинал Ришелье заканчивает унижение аристократии, поднявшей свою голову во время гражданских войн. Людовик XIV еще больше укрепляет абсолютную власть. После него, как остроумно замечает Барнав, начинается „серия ленивых королей“, „но власть была еще так нова, она вышла из рук Людовика XIV с таким авторитетом, что ни внезапные капризы регента, ни изнеженность и скандалы Людовика XV не могли поколебать ее“³⁾. Повторяя мысль Монтескье, Барнав говорит, что власть своей политикой общего унижения и развращения вела к тому роду равенства, который составляет единственную безопасность для деспотических правительств⁴⁾.

Последнюю главу своего „Введения“ Барнав посвящает „непосредственным причинам, определившим французскую революцию“⁵⁾. Основной как говорит Барнав, „естественной“ причиной было все то же развитие „демократического принципа“, одно из бурных проявлений которого представляли английские революции. Но к этому присоединился целый ряд косвенных, дополнительных причин, с одной стороны ускорявших, с другой—замедлявших наступление переворота. К числу первых Барнав относит правительственную политику при двух последних Людовиках. „Все готово было во Франции к демократической революции“, говорит он, „когда несчастный Людовик XVI взомел на

трон, но поведение правительства весьма значительно содействовало ей“¹⁾.

Интересна и характеристика роли философии в той борьбе противоположных сил, которая окрашивает XVIII век. В развитии философии Барнав различает два периода: из послушной, обслуживающей интересы свободомыслящей аристократии она во вторую половину века делается оппозиционной и радикальной. В этом отношении Вольтер, которого Барнав так не любил, является образцом первого рода философий, тогда как Гельвеций и Руссо знаменуют последний, революционный аспект философской критики²⁾.

В правительственной политике Людовика XVI Барнав усматривает две тенденции, документальное обоснование которых принадлежит исторической науке наших дней. Одна из них клонилась к унижению и разжиганию зависти среди буржуазии, а другая слепо поддерживала феодальные претензии дворянства³⁾. Алексис Токвиль более полувека тому назад указал нам на подьем классового самосознания среди богатого „третьего сословия“, а в недавнее время его мысль воспользовался Луи Мадлен, усмотрев в „тщеславии“ буржуазии один из стимулов к революции. Нет ничего удивительного в том, что Барнаву, лично переживавшему эти события, знакомы и близки эти чувства, но он отмечает и другую сторону явления—подьем феодальных претензий, как-раз то, что теперь известно под названием „феодальной реакции“ (исследования Эме Шере, Лучицкого, Кареева и др.).

Царствование Людовика XVI представляло „ряд попыток сделать добро, актов слабости и неспособности“, но неудачные попытки реформ приучили к идее лучшего (à l'idée du mieux), а это последнее в условиях обостренной общественной борьбы означало приближение революции.

К этой внутренней обстановке Барнав присоединяет новое обстоятельство первостепенной важности—международную ситуацию Франции к концу XVIII века. Мало, кто так хорошо разбирался в дипломатических делах новой

1) Introduction, I, 75, 78; Réflexions, II, 240—244.

2) Introduction, I, 77.

3) Ibidem, p. 8.

4) Ibidem, p. 82.

5) Introduction, Ch. XII

1) Oeuvres, I, 81.

2) Oeuvres, I, 83.

3) Oeuvres, I, 84.

Европы, как Барнав; об этом, между прочим, помимо его речей в Конституанте, свидетельствует целый большой отдел в его „Политических размышлениях“, озаглавленный „Публичное право Европы“ ¹⁾.

Еще в своих работах по поводу американской революции аббат Рейналь указывал, что положение Франции в Европе определилось фактом ее отношения к делу независимости в Америке. Барнав в сущности повторяет Рейналя, когда говорит: „и вот то, что было предопределено самой природой вещей, то, что подготовило своей политикой правительство, было окончательно определено американской войной“. В то время, как внутри страны все располагало к революции, внешняя политика, со своей стороны стремилась вызвать ее и, быть-может, ускорить революцию и во всей Европе“ ²⁾.

Американская война не только приближает наступление революции пропагандой свободных идей, но подрывает в корне и так слабые французские финансы и вмешивает армию в борьбу за радикальные идеи. А потому для Барнава нет ничего странного в том обстоятельстве, что когда в самой Франции дела приняли серьезный оборот, не оказалось денег, а налицо была армия с подорванной дисциплиной ³⁾.

Дальше уже шла все прогрессирующая агония власти, приведшая к крушению старого порядка. Тут история кончается для Барнава, и начинается жгучая современность, личная борьба, частные успехи и неудачи. На этом последнем акте он спускает свой занавес.

Редерер, современник и товарищ Барнава по Учредительному Собранию, в самом начале XIX века, оглядываясь на прошлое, писал: „Французская революция началась в XI веке, при первом набате колокола, который прозвучал в городах и бургах, населенных людьми, поднявшимися против притеснений сеньоров“ ⁴⁾.

Можно сказать, что все разобранные произведения Бар-

нава являются одним красноречивым доказательством этой самой мысли, послужившей исходным пунктом для дальнейшего развития исторической работы во Франции. Либеральная историография начала XIX века может смело считать Барнава одним из самых ярких своих предшественников.

¹⁾ *Réflexions politiques*, Ch. LX. Droit public de l'Europe, t. II, 253—303.

²⁾ *Introduction*. Oeuvres, I, 85

³⁾ *Introduction*, p. 86.

⁴⁾ *Roederer* L'Esprit de la Révolution, Oeuvres, t. III

Заключение.

В заключение мне хотелось бы отметить, в каком отношении материалистическое понимание истории века просвещения стоит к позднему историческому материализму.

Надо вообще сказать, что в развитии материалистической доктрины века „философов“ не обращено должного внимания на тот факт, что *младшие материалисты*, под которыми нужно разуметь непосредственных учеников Гельвеция, образовали своеобразную школу, которая обратила большее внимание на приложение материалистического метода в области общественной науки, чем „основоположники“, которые, начиная с Гассенди и Ламетри, работали преимущественно над разрешением гносеологических и морально-политических проблем. Рейналь, Сен-Ламбер, Шасбеф де Вольней являются наиболее яркими представителями этого направления в философии. По их следам идут „идеологи“ времен революции, пересматривающие, проверяющие и „исправляющие“ философские выводы своих предшественников, тут же, под влиянием многообразного опыта волнующих событий и часто под их непосредственным давлением. Из них я назову комментатора Смита Жермена Гарнье, революционного синдика Парижского департамента Редерера и, наконец, Барнава.

Сочинения последнего представляют наиболее яркий синтез всего того, что дал „рационалистический век“ для развития исторического материализма. По его сочинениям поэтому лучше всего судить, что представляет собою „исторический материализм“ XVIII века.

Эпигон философских исканий своего времени, Барнав скорее является позитивистом, чем строгим материалистом. От философского монизма в материалистическом его содержании уклонился уже Гельвеций, не говоря уж о его

современнике бароне Дитрихе Гольбахе. Это уклонение, подмеченное уже Г. В. Плехановым в его штудиях о материалистах XVIII века, состоит, главным образом, в предвнесении идеалистических мотивов для объяснения исторического развития человечества, которое наблюдается у Гельвеция и Гольбаха; на ряду с попытками этих философов материализовать исторический процесс, подобный метод ведет к последовательной гносеологической „антиномии“, которой счастливо избежал Барнав, цепляясь за позитивизм Кондильяка. У Гольбаха это уклонение распространяется и на моральное учение, где на ряду с последовательным утилитаризмом находятся следы увлечения моралью долга и добродетели. Под влиянием дуалистической системы аббата Кондильяка, намечавшего основные линии последующего агностицизма, Барнав еще дальше отходит от материалистического монизма в сторону *философского эклектизма*. Последнее сказывается в его теоретических воззрениях на человека, общество, право, мораль и на том построении *системы научных предметов*, которым он предваряет иерархию наук Огюста Конта.

Это не препятствует Барнаву быть последовательным сторонником методологического единства в сфере общественных наук. Здесь проявляется его преклонение перед естественно-научными достижениями своего времени, и здесь он пытается применить натуралистический метод к построению прошлого, упорно исследуя исторические законы, казавшиеся ему столь же неизменными и вечными, как и те, которыми управляется жизнь космоса. В этом направлении научная пытливость Барнава предваряет „физизм“ Сен-Симона, считавшего одно время закон всемирного тяготения той осью, на которой вращается все многообразие жизненных проявлений на земле.

Когда перед Барнавом стал вопрос об относительном значении материальных и идеальных сил в историческом процессе, он решил его вполне в духе своего натуралистического историзма, выдвинув в качестве объективных факторов географическую среду и *собственность*.

Мы видели уже, что толчек в этом направлении он получил, с одной стороны, благодаря изучению идей Мон-

тескѣ, а с другой — под влиянием попыток школы физиократов наметить „естественный“ порядок развития человеческих обществ.

Но если естественная среда играет роль непреодолимого, но все-таки пассивного фактора, то эволюция собственности объясняет, по мнению Барнава, ту смену общественных форм, законов, конституций, идеологических построений, о которой нам свидетельствует вся история человечества. Высшим проявлением этой эволюции собственности, начиная с первобытных времен и кончая современным государством, является борьба между противоположными интересами, носителями которых оказываются отдельные группы, корпорации, сословия и классы.

Проблема борьбы общественных классов, никогда не умирающих социальных организмов, которыми живет и движется история, получает у Барнава свое историческое оправдание и обоснование. Стараясь подтвердить свою мысль, он последовательно останавливается на различных эпохах в истории Европы — вскрывает экономическую сущность феодального периода, рисует процесс городской и крестьянской эмансипации, следит за возвышением близкого ему третьего сословия и сравнивает между собой два наиболее грандиозных „демократических взрыва“ — английскую революцию XVII века и французский переворот XVIII века.

Этими сторонами своего исторического мировоззрения Барнав как-будто „предвосхищает“ и „предваряет“ марксизм, как говорит Жан Жорес; больше того, его построения являются тем необходимым звеном в цепи идей, без изучения которого самый исторический материализм может показаться некоторой исторической неожиданностью, или простой идеологической случайностью. Но и только. Первое же внимательное сравнение социологии Маркса и взглядов Барнава обнаруживает их *принципиальное различие*. И дело тут не только в том, что первый является теоретиком революционного пролетариата, тогда как второй консервативно стоит на страже интересов своей „касты“.

Выше по отдельным поводам мы старались показать пункты сходства и различия в понимании основных элемен-

тов материалистического подхода к истории у Маркса и Барнава. Оказалось, что их учения кое-где соприкасаются. По некоторым пунктам эпигон XVIII века смело намечает те идеи, которые легли в основу марксистской социологии, но в то же время обнаружилось, что еще чаще, несмотря на все видимое подобие, взгляды Маркса и Барнава расходятся по самым существенным вопросам, какими являются, например, роль экономического фактора в эволюции общества и понимание института собственности.

Вдумавшись в это расхождение, мы должны будем прийти к выводу, что иначе и быть не могло. Давно уже отмечалось, что социальная доктрина Маркса явилась равнодействующей двух основных потоков идей — французских историко-социологических построений и немецкой лево-гегельянской спекуляции. Выйдя отсюда, материализм Маркса стал *материализмом монистическим* с точки зрения онтологии, и *материализмом диалектическим* со стороны метода в общественной философии; напротив, Барнав ограничивает сферу своих материалистических исканий методологическими заданиями в области социологии, примыкая по своим философским симпатиям к агностицизму и критицизму учеников Кондильяка, предваривших во Франции позитивную школу Конта. Выше мы уже видели, что сам Маркс относит к заслугам буржуазной историографии — „открытие классов“, а к заслугам буржуазной экономики — „экономическую анатомию классов“. Теоретизирующий ум Барнава работал как-раз по этим двум направлениям, тогда как Маркс стремился установить закономерную связь между общественным производством, с одной стороны, и историческими проявлениями классовой борьбы — с другой.

По этому самому, исходя из материалистических предпосылок, Маркс последовательно усмотрел в производственно-техническом моменте определяющую силу исторического развития. Он писал: „технология разоблачает активное отношение человека и природы, непосредственный процесс производства его жизни, а с тем вместе также его общественные жизненные отношения и вытекающие из них умственные отношения“¹⁾.

¹⁾ К. Маркс. Капитал, т. I, стр. 326, издание 1872 г.

Если социология XVIII века, а с нею вместе и Барнав, усматривала в разделении труда основную причину классового разделения общества, то Маркс само разделение труда приводил в зависимость от более первичного элемента, каким считал производственно-технические изменения. Таким образом, социальный прогресс движется технологическими усовершенствованиями, порождающими новые производительные силы, которые рвут рамки старых общественных отношений. Из противоречий старого общества тут вырастает внутренняя гармония нового общества. Диалектика для Маркса является одновременно и методом, и философией истории, и социологией.

Барнав не знает этой оптимистической диалектики; проследив шаг за шагом возвышение своей „касты“, установив ее историческое право на власть, он тревожно вглядывается в будущее, пугающее его своей неизвестностью.

Жорес как-то упрекнул Барнава, что он не видел дальнейшего развития и не предчувствовал возвышения „четвертого сословия“; этот упрек повторил Эдуард Бернштейн. Прежде всего неверно, что Барнав игнорировал совсем „четвертое сословие“; напротив, как политик, он очень и очень считался с ним, недаром он строил все свое государство на представительстве одной собственности; но, как философ истории, он должен был иметь дело с законченным конкретным целым, эмпирически данным результатом развития, с определившимся началом и предполагаемым завершением истории. За пределы этих гносеологических предпосылок не выпрыгнул еще ни один философ истории. Не мог этого сделать и Барнав, видя в победе своего класса осуществление всего того, чем история была чревата еще в своем младенчестве. Философия истории кончалась для Барнава в пределах данной эмпирии наличных экономических условий, не имея диалектических крыльев, чтобы улететь в будущее.

Поэтому-то в применении к его историческим взглядам можно говорить только о материалистическом понимании, о материалистическом объяснении (интерпретации) истории; это, как мы выше отметили, чисто методологический мате-

риализм или экономизм в истории, уживающийся с плюралистическим пониманием явлений общественного взаимодействия.

И, тем не менее, историко-философское мировоззрение Барнава, погребенное в тайниках семейного архива почти до самой середины прошлого века (1842 г.), является необходимым звеном в цепи преемственной связи идей, материалистически объяснявших явления прошлого. В этом отношении младшие материалисты подают руку позитивистам-идеологам, а последние воспитывают ту духовную атмосферу, в которой оказывается возможным появление гения Сен-Симона, обогатившего своими прозрениями как раз то поколение, к которому принадлежали Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Мысли Барнава ценны, как наиболее яркое и талантливое выражение великого поворота к историзму, знаменовавшего конец XVIII века; более того, они замечательны как симптом того, что материалистическая концепция истории уже существовала и носилась в воздухе перед тем, как пришли теоретики и философы с готовым запасом наблюдений и фактов; бытие ее мы одновременно ощущаем и в реакционной романтике виконта Де Бональда, и в идеалистической метафизике Гегеля, и в социологических экскурсах адептов „религии“ Сен-Симона.